

# ВМЕСТЕ С ЯВЬЮ



ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ  
Поэт, прозаик, переводчик,  
один из основателей  
СМОГа. Родился в 1946 году  
в Перми. Онучил отде-  
ление истории и теории  
искусства исторического  
факультета Московского  
государственного универ-

ситета имени М.В. Ломо-  
носова. Автор множества  
книг стихов и прозы. Член  
Союза писателей Москвы,  
Союза писателей XXI века  
и Высшего творческого  
совета этого Союза. Член  
ПЕН-клуба. Живет в Москве  
и Нонтебеле.

– Скажи мне честно, Володя, скажи мне открыто и прямо, скажи мне как на духу, по-дружески, да и по-свойски, – ты сможешь когда-нибудь, ну, там, в том самом грядущем, которое, как ни крути, однажды все же придет, да, придет, написать обо мне? – спросил меня как-то, давно, в семидесятых, Зверев.

Я ответил ему:

– Смогу.

И Зверев тогда улыбнулся, и глаза его влажными стали, и лицо его посветлело, и сказал он свое:

– Хорэ!

Да, хорэ. Сквозь время – хорэ.  
Ночь. Луна в литом серебре.  
Или солнце – и ясный день.  
Из былого – сквозь строки – тень.  
Или – взгляд. Или – зов. Сквозь боль.  
Век таков. Такова юдоль.  
Или – творчество: навсегда.  
В небе хмуром – сквозь хмарь – звезда.

Зверев немного подумал и сказал мне:

– Знаешь, Володя, все-таки я не один такой вот, как есть. Особенный. Нас, между прочим, немало. Нас, художников наших. И есть среди них достойные, талантливые. И поэтому, если ты будешь писать когда-нибудь обо мне и обо всем, что было в трудное наше время, то пиши уж и о других. И о поэтах наших. И о прозаиках наших. А еще и о людях разных, колоритных, из нашей среды. Потому что все мы, конечно же, это факт, единое целое. Как нас потом назовут? Небось, придумают что-нибудь, этакое выразительное, скорее

всего, название. И все тогда согласятся с этим. А ты – пиши. Не обо мне одном. Обо всех нас. Поскольку мы – не какой-нибудь сброд. Мы – явление. И таких, как мы, я считаю, днем с огнем не найдешь нигде – ни в Америке, ни в Париже. Мы – на родине у себя появились – и состоялись. И останемся здесь – навсегда, я считаю, в искусстве нашем. И в поэзии нашей, и в прозе. То есть в том, что мы создаем, – и еще, даст Бог, создадим. В нашем – личном и общем – творчестве. Так – разумнее. Справедливее. Так я думаю. Ты понимаешь?

Я ответил:

– Да, понимаю. Постараюсь я написать и о других художниках. И не только о них, разумеется. Обо всей нашей славной братии.

Зверев сказал:

– Пиши. Я тебя – благословляю. И говорю: хорэ!

Мы стояли вдвоем со Зверевым в незнакомом каком-то дворе.

Это было – припоминаю – поздней осенью, в ноябре.

Листья жухлые под ногами. Ветер, холод, ледок, снежок.

Небеса, свинцовые, низкие. Окна – в ряд. Иногда – в кружок.

Гул столичный. Предзимья веянье. Предвечерья печальный час.

Стены, вставшие за деревьями. Чувств и слов золотой запас.

Разгоравшиеся поблизости неприкаянные огни.

Мы стояли вдвоем со Зверевым в мире этом – совсем одни.

– Куда же податься нам? – спросил задумчиво Зверев.

Я ответил:

– Куда-нибудь.

– А точнее?

– Надо подумать.

– Будем вместе думать?

– Давай.

– Думы, думы, вы так угрюмы!

– Ты опять говорить будешь в рифму?

– Захочу – и буду. А что?

– Говори, если очень хочется.

– Почему-то уже не хочется.

– Почему?

– Да откуда я знаю?

– Что ж, понятно.

– А мне, представь себе, непонятно.

– Бывает всякое.

– Вот и я говорю: бывает.

– Но куда мы пойдем?

– Вперед!

И мы зашагали – вперед.

Отправились – в никуда?

Нет, пожалуй. Туда, где вечер наступал, надвигался всею темнотой своей на столицу. Где огней становилось все больше, а людей – все меньше и меньше на окрестных всех тротуарах. Где машины с зажженными фарами проносились – все мимо и мимо. Мимо нас, бредущих задумчиво сквозь вечерний предзимний мир. Мимо редких деревьев с последними, облететь не успевшими листьями. Шли и шли мы. Туда, где, может быть, примут нас, где удастся время скоротать,



Мы решили пойти со Зверевым – так уж вышло однажды – в Сокольники. И не просто так – погулять, побродить по местам знакомым. Но – на встречу с друзьями нашими. Нас они должны были ждать. Где? Да там, где мы с ними условились повидаться, в назначенный час.

И пришли мы на встречу – вовремя.  
И увидели – издалека – всех троих наших славных друзей.  
Почему же – издалека?

Потому что наши друзья были слишком заметными, были, как известно, людьми высокими. Каждый – метр девяносто с лишним. И сидели они на скамейке, возвышаясь на нею, как некие небывалые вертикали, или – вежи, или – столпы, или – может, и так, – изваяния, но – живые, само собою, да еще какие живые! – жизни было в них столько тогда, что хватило бы и на сотню современников, – и бурлила в них жизнь, да так, что летели искры электрические от них, рассыпались в разные стороны с треском, вверх высоко взмывали, окружали их ореолом, жгучим, жарким, вполне знакомым и привычным – для всех троих.

На скамейке сидели – Игорь Ворошилов, похоже – трезвый, узкилицый и длинноносый, в старом плащике тесном, Веня Ерофеев, со светлым чубом, развевавшимся на ветру, словно зная, и Рафаэль Зинатулин, худой, очкастый.

И они – все трое, все разом, – говорили, да так увлеченно, вдохновенно, о чем-то важном, было ясно, для всех троих, – что слова их взлетали, казалось, вверх, с осенними листьями вместе, и кружились над ними в воздухе, и на землю совсем не падали, оставаясь там, наверху, где сгущался в облачном небе, чтобы там задержаться подольше, ясный, тихий, волшебной музыкой нараставший, звучащий свет.

Я хотел было ринуться к ним – но Зверев как-то внезапно, беспокойно, меня удержал.

Кивнул головой в сторону – и прошептал:

– Менты!

Потом взгляделся куда-то – и уточнил:

– Нет, мент. Один. Пока что – один. Но все равно ведь – мент.

Посмотрел я туда, куда он кивал, напрягаясь, волнуясь, – и тоже увидел мента.

Одного. Настоящего. В форме.

Это был человек небольшого, даже маленького росточка.

Но, как Зверев говаривал, – враг.

И этот маленький мент, которого наши друзья не видели, разумеется, потому что сидели спинами к нему и вели свои разговоры, – какую-то прыть проявлял, охотничью прямо, и вкрадчивыми шагами приближался сзади к скамейке, где сидела дружная тройца.

Зверев сказал:

– Подожди. Не спеш. Посмотрим, что будет.

Я ответил:

– Давай подождем.

А наши друзья – говорили.

Ворошилов:

– Хлебников – гений! Угол зрения – вот что важно. Зорким стань – и ты все поймешь!

- Ерофеев:  
– Кстати, у Ибсена есть один любопытный ход. Он для прозы – незаменим.  
Зинатулин:  
– Суры Корана, я скажу вам, – это поэзия!  
Ворошилов:  
– Помню, когда прочитал я Бёме впервые, мне открылось такое, братцы, что прозрел я тогда навек!  
Ерофеев:  
– Пер Гюнт! Вот это Скандинавия! Это музыка!  
Зинатулин:  
– Восток! Хайям! Авиценна! Дервиши, суфии!

И так далее. Как ни странно, разнобоя в словах друзей вроде не было. И друг друга хорошо они понимали.

- Зверев тихо пробормотал:  
– Ну и умные ребяташки!  
Я ответил:  
– Что есть, то есть.  
Зверев:  
– Им бы в Кремле сидеть – да страной управлять оттуда.  
Я:  
– Никто их не пустит в Кремль.  
Зверев:  
– Знаю. Да я шучу.  
Я:  
– Ребятки у нас – образованные.  
Зверев:  
– Ум – хорошо. У них, получается, – ум тройной. Как известный одеколон. Но не ум – один на троих. Три ума. И заметь, все – разные.

Между тем этот маленький мент почти подобрался к скамейке, на которой столь увлеченно говорили наши друзья.

Видимо, вообразил, что они выпивают. Иначе – зачем же им громко так говорить? На трезвую голову по-другому совсем говорят.

- И вот этот маленький мент подошел вплотную к скамейке.  
И – за спинами у ребят – завопил повелительным тоном:  
– Так! Попались? Что, распиваете? Доигрались? А ну-ка – встать!  
И друзья наши – переглянулись меж собою, недоуменно и спокойно. И – встали тогда.

И внимательно посмотрели – с высоты своей – вниз, на мента.

- Ворошилов сказал:  
– Приветствую!  
Ерофеев сказал:  
– Ну, здравствуйте!  
Зинатулин воскликнул:  
– Салам!  
Ворошилов:  
– Да здравствует Хлебников!  
Ерофеев:  
– И Северянин!  
Зинатулин:  
– И Авиценна!

- Мент, растерянно:
- Где вино?
- Ворошилов:
- Да нет вина!
- Мент:
- А водка? Где водку спрячете?
- Ерофеев:
- И водки нет. А была бы – давно бы выпили.
- Мент:
- А пиво? Пили вы что-нибудь?
- Зинатулин:
- Увы, не пили!
- Мент:
- А что же вы громко так говорили, не выпивая?
- Ворошилов:
- Беседы наши – философские. Рассуждаем о величии бытия.
- Ерофеев:
- Терминологию можем мы упростить, для вас.
- Зинатулин:
- Подкорректировать.
- Мент:
- Ну вот, развели антимию! Говорить вы горазды. Выходит, вы совсем ничего не пили?
- Ворошилов:
- Совсем ничего.
- Ерофеев:
- Ну да. А хотелось бы.
- Зинатулин:
- Совсем не пили!
- Мент:
- Не знаю, что и сказать!..
- Он стоял, растерянный, маленький, там, внизу, – а над ним возвышались трое наших богатырей.
- Гренадеры. Нет, великаны.
- С высоты почти двухметрового роста, как будто с башен, смотрели они сочувственно на маленького мента.
- Что ему оставалось делать?
- Мент сказал:
- Ну ладно. Бывайте! Только с выпивкой чтобы – ни-ни!
- И ребята, все вместе, воскликнули:
- Ну конечно же! Ясно. Прощайте!
- И мент ушел восвояси – куда-то. И растворился где-то там, далеко, – навсегда...
- И вспомнил я строки Хлебникова:
- И призраком ночной семьи застыли трое у скамьи.  
Конечно же – с коррективами.  
Из яви. А может – из сказки.  
Из мифа. Или – предания.  
Понятно, что – не семьи.  
Тем более – не ночной.  
А просто – дружеской троицы.

Но Хлебников был – я чувствовал это – совсем рядом.  
А иначе вот здесь, в Сокольниках осенних, – и быть не могло.  
Был, присутствовал, жил – за каждым словом и взглядом.  
Смотрел на всех нас – внимательно, задумчиво и светло.

И тогда мне Зверев сказал:

- А теперь, Володя, пойдем! Заждались нас, видно, ребята!
- И сказал я:
- Да, Толя, пойдем!
- И мы подошли к друзьям.

Раздались восклицания наши, зазвучали в парке осеннем настоящей дружеской музыкой нашей встречи и наших имен:

- Здравствуй, Толя!
- Здравствуй, Володя!
- Здравствуй, Игорь!
- Веня, привет!
- Рафаэль, привет!
- Вот и встретились!
- Да, явились, не запылились.
- Нам пылиться, пожалуй, рано!
- А явиться – милое дело!
- Выпьем?
- Выпьем!
- А где?
- Найдем!
- Не впервой!
- Конечно!
- Еще бы!

И нашли мы то, что хотели, в павильоне каком-то дальнем.

И отправились – вглубь Сокольников, чтобы там быть поближе к природе и подальше от всяких ментов и подобных им раздражителей.

Пусть общению нашему дружескому в старом парке московском, в осеннюю, переполненную поэзией задушевной, чудесную пору не мешает отныне никто!

И там, в глубине лесной, можно сказать – в глуши, хотя эта глушь лесная находилась в столичном городе, но была, тем не менее, в нем отдаленной от шума и гула, от любых примет городских, и казалась нам полной свободой, драгоценной, желанной волей из преданий, песен и сказок, откровением, нам дарованным на какое-то время, и явленным, в чем сомнений не было, свыше, выпивали мы, не спеша никуда, чинно, скромно, на свежем воздухе, – и, конечно же, говорили.

Разговоры прежние наши – вовсе не были болтовней.

Разговоры были – серьезными.

Нас поддерживали они.

Помогали нам – выживать.

Помогали сплотиться нам, ощутить единство среды нашей давней, отзывчивой, дружной – и, что самое важное, творческой.

Не хватило тогда нам выпивки.

Захотелось нам всем – продолжить.

Только денег у нас – уже не было.





его похмельные подвиги, на скитания бесконечные по Москве, по разным зна-  
комым, и приятелям, и друзьям, умудрялся везде он, куда бы ветром времени  
беспощадным или жадой пространства его хоть однажды ни занесло, вопреки  
любимым обстоятельствам и условиям неподходящим для спокойного творчества,  
сложным, иногда и суровым, – работать.

Что в нем было – неадекватным?  
Или, может быть, безобразным?  
Или – кто его знает! – безумным?  
Или – даже совсем уж диким?  
Или... Что вам гадать напрасно?  
И зачем нужно это вам?  
Ничего такого – в нем не было.  
Ничего подобного. Знайте.  
Зверев был – человеком целостным.  
Жил – искусством. Спасался – творчеством.  
От всего, что ему мешало.  
От всего ненужного, лишнего.  
От всего, что было – чужим.  
От всего, что было – не зверевским.  
Не родным. Не личным. Не вечным.  
И выходит – бесчеловечным.  
И вело его в жизни – призвание.  
И дарован был ему – дар.  
Дар – огромный, как мир. От Бога.  
Остальное – судьба и дорога.

\* \* \*

– Да что они понимают, замухрышки эти, в искусстве! – однажды воскликнул  
Зверев. – Не дано им, вот что скажу я убежденно вполне, – понимать. Притво-  
ряются, что понимают. Имитируют понимание. А искусство – это – ну как объ-  
яснить поточнее? – чудо. Ну откуда оно берется? Почему у одних – оно есть,  
а других оно словно обходит стороной всегда? Почему? Потому что искус-  
ство – единство земной, так я думаю, истины – и небесной извечной правды.  
Истина – в опыте нашем. А правда – в даре, который дан, как известно, – свыше.  
Тот, кто сумеет это в творчестве соединить – тот создает искусство. К тому  
же следует помнить, что искусство – не блажь, а труд. И причем – огромный.  
Такой, что его еще надо выдержать. Тот, кто выдержит, – победит. Вот что  
я говорю сейчас. И могу, если это надо, подписаться под каждым словом.

Я внимательно слушал его.

Мы снова были с ним в Свиблове, в переполненном страхами Гиблове, как его  
называл обычно в прежние годы Зверев.

Квартира, весьма унылая и какая-то беспросветная, была частично заполне-  
на простейшей старую мебелью, но все равно казалась почему-то совсем пустой.

За окном – тоскливый пейзаж городской: вереница домов окрестных, ма-  
лоприятных с виду, без всяких примет и отличий, почти одинаковых – просто  
коробки бетонные, серые или белесые, приспособленные для жилья.

Шаткий стол. Два-три стула. Тахта. Шкаф. И сверху на нем, горой преизряд-  
ной, – работы зверевские.

Вот и вся обстановка гибловская.

Зверев резко поднялся с места. Походил немного по комнате. И – продолжил  
свой монолог.

– Вот я, например. Какая жизнь у меня? Скажу. Тяжелая. Так уж вышло. Рисую – с детства. Всегда, сколько помню себя, рисовал. И сколько моих картинок – погребло, пропало! Не счастье! Мать моими этюдами маслом, бывало, печку топала. Сколько было их разбазарено, разбросано по каким-то полузабытым местам! Где их теперь искать? Да и надо ли их искать? И ничего, стерпел все эти безобразия. Снова и снова – работал. Считают, что сделал я тысяч тридцать картинок. Чушь! Сделал я тысяч триста, наверное. Никогда я их не считал. Рисовал – где придется, частенько. Чем придется. На чем придется. Да какая разница мне – где, и чем, и на чем рисовать! Я художник. И, значит, могу рисовать тем, что есть под рукой. Были б только – подъем, полет. Вдохновение. Так называют знатоки состояние это. Я, конечно, не возражаю. Вдохновение? Пусть и так. Иногда – в газете какой-нибудь фотографию вдруг увижу, оттолкнусь от нее – и рисую. Возникает – изображение. Получается – преображение. Так вот, вроде из ничего. А на деле – считай, волшебство. Иногда – рисую по памяти. Иногда – рисую с натуры. Иногда – в музей хожу, для развития, для культуры. Мне по нраву – любая техника. А не только одна акварель. И бывает – новую технику я придумываю, на ходу, вдруг, внезапно, под настроение. Так что я, выходит, художник – многогранный, универсальный. Есть фантазия. Есть кураж. Есть талант. Все это – при мне. Только помнить советую всем: рисование – это работа. Например, акварель. Казалось бы, это совсем легко. Два-три акцента, пробелы, чтобы воздух в работе был. Вот и все. Но попробует пусть кто-нибудь это сделать так, как один я умею делать! Чтоб работа – долго жила. Чтоб того, кого рисовал я, в самом деле – увековечить! Так что все это – ох, как непросто! И, конечно же, хорошо, что – непросто. Поскольку так – интереснее жить и работать. И поэтому – необходимо и пожить еще, и поработать. Вот мой нынешний лозунг. Хорэ!..

И я ощутил тогда, что время свободно раздвинулось, разлилось широко в пространстве, слилось с ним в единое целое, – и там, далеко, высоко, за окном, за бетонными стенами, за всеми домами окрестными, в ненастном, сумрачном небе, над эпохой нашей грозной, сквозь дни ее и года, – возникло сияние звездное, чтоб остаться там – навсегда...

\* \* \*

.....  
...Гость нежданный в той комнатухе, где однажды я обитал и куда, навещать меня, заявился с выпивкой Зверев.

Гость – случайный. Но вроде по делу появился здесь. Как-то мнетса. Но потом – набирается храбрости. Обращается к Звереву:

– Толя!

Зверев, как говорят, ноль внимания.

Гость тогда говорит:

– Анатолий!

Зверев снова – не реагирует на такое вот обращение к нему совсем незнакомому, непонятному человеку.

Гость опять говорит:

– Анатолий Тимофеевич! Вы меня слышите?

Зверев, глухо и кратко:

– Слышу.

– Вы могли бы сейчас...

– Что – мог бы?

– Написать трактат.

– Что?

- Трактат. Говорят, вы их здорово пишете.  
– Что сказал ты? А ну, повтори!  
– Вы могли бы трактат написать?  
– Я могу, старик, очень многое написать.  
– И трактат?  
– И трактат.  
– Напишите трактат.  
– О чем?  
– Как – о чем? Надо сообразить. Об искусстве вы вроде писали. Напишите трактат – о погоде.  
Зверев, коротко:  
– Десять рублей.  
– Что, сумеете?  
Зверев:  
– Двадцать.  
Гость опешил:  
– Ну, аппетиты...  
Зверев, резко и твердо:  
– Тридцать.  
Гость подумал немного. Потом произнес, осмелев:  
– Я согласен.  
Зверев:  
– Что там сейчас за погода?  
Гость, слегка озадаченно:  
– Где?  
Зверев:  
– Там, за окном. На улице.  
Гость:  
– На улице? Дождь идет. Зябко, сыро. В общем, невесело.  
Зверев:  
– Деньги мне покажи!  
Гость, порывшись в карманах:  
– Вот! Ровно тридцать рублей.  
Зверев:  
– Ладно. Хорошо. А на чем писать? Да и чем?  
Гость:  
– А вот и тетрадь, новенькая. И ручка. Заграничная ручка. Отличная.  
Зверев, хмуро:  
– Давай тетрадь. И свою заграничную ручку.  
Гость на стол положил тетрадь. Рядом с ней положил он ручку.  
Зверев молча раскрыл тетрадь. Взял в свою артистичную руку заграничную ручку. Подумав, написал заголовок, простой и понятный: «Трактат о погоде». И – немедленно начал писать.  
Он писал до тех пор, пока вся тетрадь не была заполнена размышлениями художника, размышлениями – о погоде.  
Он сложил тетрадь. Протянул ее, вместе с ручкой, неожиданному гостю. И сказал:  
– Теперь – гонорар.  
Гость воскликнул:  
– А можно мне посмотреть сначала?  
И Зверев разрешил ему это:  
– Смотри.  
Гость сразу же начал читать творение свежее зверевское.

- И – втянулся. И прочитал все, что было в тетради написано.  
В это время Зверев смотрел на допитую бутылку вина. И грустнел, на глазах.  
Гость закончил чтение. Встал. И сказал:
- Ничего подобного не читал я. Это – шедевр.
- Зверев буркнул в ответ:
- Бывает.
- Гость сказал:
- Вот, пожалуйста, ваш гонорар. Здесь тридцать рублей. А трактат ваш – я сохранию.
- Зверев деньги небрежно взял. И сказал, со значением, гостю:
- Разрешаю хранить трактат. Деньги есть еще?
- Гость, растерянно и немного волнуясь:
- Есть.
- Зверев, грозно, ему:
- Покажи!
- Гость достал кошелек свой:
- Вот!
- Зверев:
- Слушай, старик! Алейников – гениальный поэт, – и широким жестом, дружеским, рыцарским, щедрым показал на меня, – он бездомничает. И ему, как и мне, нужны тоже средства к существованию. Понимаешь меня?
- Гость взглянул на меня и сказал:
- Понимаю.
- Обратился Зверев ко мне:
- Ты скажи мне, Володя, – сейчас у тебя в портфеле найдется хоть один, какой уж там есть, самиздатовский сборник твой?
- Я открыл портфель. Посмотрел, что в нем есть. И сборник нашелся. Положил я на стол его:
- Вот он.
- Зверев – гостю:
- Купи у Володи самиздатовский сборник его. Ты об этом не пожалеешь. Будешь долго потом вспоминать нашу встречу. Ты меня понял?
- Гость спросил:
- Сколько стоит сборник?
- Зверев сразу сказал:
- Четвертную.
- Гость сказал:
- Так и быть. Куплю этот сборник, не за четвертную, а за тридцать рублей, маэстро, как и ваш трактат о погоде.
- Зверев это одобрил:
- Лады!
- Гость открыл кошелек. Достал ровно тридцать рублей оттуда. Протянул мне деньги:
- Держите!
- Я сказал ему:
- Благодарю.
- Зверев – мне:
- Подпиши ему сборник. Внуки лет через сколько-то там, да неважно ведь, через сколько, в общем – в будущем, продадут за приличную сумму. Я знаю, так и будет. Им хватит на жизнь.
- Подписал я свой сборник – и молча протянул его нашему гостю.  
Он сказал:

- Спасибо, Владимир!  
Зверев – гостю:
- Давай трактат!  
Гость:
- Зачем еще?  
– Подпишу!  
– Да, конечно, конечно. Вот он.  
– Как зовут? Фамилия, имя, да и отчество.  
Гость сказал.  
Зверев свой трактат подписал. Протянул его гостю:
- Держи!  
Гость воскликнул:  
– Спасибо, спасибо!  
Зверев:  
– Не за что.  
Гость:  
– Я так рад!  
Зверев:  
– Слушай, трактат – о погоде. А погода сегодня – скверная. Настроение – тоже неважное. Вот десятка. Сгоняй в магазин. Это близко, здесь, за углом. И купи там побольше выпивки. Ну а если что-то останется, то купи тогда и закуски.  
Гость сказал:  
– Я согласен. Я мигом!  
Подхватил десятку – и ринулся, во весь дух, поскорее, за дверь.  
Не прошло и пяти минут, как вернулся он к нам, промокший под дождем, но довольный, с выпивкой и закуской:
- Я все купил!  
Зверев:  
– Здорово! Ты молодец.  
Гость спросил:  
– Мне теперь уходить?  
Зверев:  
– Нет! Посиди-ка с нами. Обогрейся немного. Высохни. Предлагаю втроем нам выпить. И, поскольку закуска имеется, то немного и закусить.  
И мы, разумеется, выпили. И закусили. Втроем.  
А потом – говорили мы. Долго. Обо всем на свете. Втроем.  
И день дождливый сменился вечером, тоже дождливым, но это ведь – там, за окном, а в комнате нашей – тепло и спокойно. И мы – говорили. Об искусстве, о жизни. И я читал в тот вечер стихи. И Зверев их слушал внимательно, и глаза его были влажными.  
А гость сказал нам:  
– Я счастлив, что познакомился с вами!  
Ближе к ночи наш гость ушел, унося с собою трактат о погоде, зверевский, с подписью, и мой самиздатовский сборник стихов, тоже с подписью. Был он в самом деле доволен и счастлив.  
Жаль, что я позабыл, как звали нежданного нашего гостя.  
Важно то, что он – был. Давно. В ту эпоху, что отшумела, вместе с ветром, с дождями, со снегом, со скитаниями, бездомицами, с тем, что сердцу дорого было, вопреки неурядицам всяким и невзгодам, со всем, что выжить нам помогало, что было явью, настоящей, что сердцу дорого и сейчас, потому что в нем было главное – наше творчество, что спасало нас и хранило, если даже нам приходилось временами играть с огнем...



И поэтому нам со Зверевым было что рассказать друг другу, было что показать современникам – и стихи мои прежних лет, и картинки тогдашние зверевские.

Никогда у нас не было ревности – к тому, что создал другой.

Были только, везде и всегда, – внимание и понимание.

Каждый был из нас – личностью. Вот что помнить следует всем сейчас.

Да, со Зверевым было – непросто.

Но зато – интересно. И Толе было, всюду, спокойней со мной.

Наша дружба длилась годами.

Хоть бывали и перерывы постоянно в общении нашем.

Иногда уезжал я надолго из Москвы. Путешествовал часто. Месяцами жил у родителей, в Кривом Роге, на Украине, в нашем доме, где много работал.

А когда в Москву возвращался, находил меня Зверев – сам.

И тогда – продолжались наши приключения и скитания.

Длилось это до той поры, для меня важнейшей, когда я женился, когда у меня наконец семья появилась.

И скитания многолетние завершились, к счастью, тогда.

И так получилось, что видеться со Зверевым я перестал.

И он, человек умнейший, понимал, почему так вышло.

Все ведь ясно – семья есть семья.

Появились потом у него и другие друзья. И помощники. Да и было знакомств у него предостаточно, хоть отбавляй.

Ну а годы нашей с ним дружбы – что же делать? – остались в прошлом.

Только память о них осталась. Но – какая память! Такая, что живет – и, я твердо знаю, – будет жить и в грядущем, где, безусловно, мы встретимся снова, будем к этому оба готовы, и порукою в этом – слово днесь, и – верность своей звезде.

\* \* \*

.....  
...Мы едем вдвоем со Зверевым. В такси. Как всегда. Так надо. Так Толе намного спокойнее. Так – менты не поймают на улице, не отнимут деньги последние, да вдобавок – не избыют. И, конечно же, так – удобнее, и комфортнее, это ясно и ежу, чем ехать в автобусе, или, вот уж чего не хочется, в толчее людской, где какая-то энергетика нехорошая, с запашком дурным, с едким привкусом безобразия, даже страшная, где любой к тебе может придрататься ни с того ни с сего, поскандалить, оскорбить, причем – под землей, что уже само по себе и ужасно, и просто дико, под землей, в длиннющих туннелях, то грохочущих поездами, то пустых совершенно, темных, ехать, мучась ежесекундно, и страдая, и напрягаясь от любого взгляда, любого кем-то брошенного словца, от любого прикосновения, в непрерывном шуме и грохоте, в постоянном чередовании темноты и тусклого света, не наземного, а подземного, ехать к цели своей – на метро.

Зверев меня попросил побыть с ним рядом сегодня. Поддержать его. Потому что для него это было важно.

Помощь другу – дело святое.

Круговая порука наша в годы прежние крепкой была.

Толя за мной заехал туда, где я, подустав от бездомных брожений долгих, временно обитал.

Ворвался ко мне:

– Привет!

Я откликнулся:

– Здравствуй, Толя!

- Ты готов к походу?
- Готов.
- Ну, тогда поедem, Володя. На такси. Потому что в Гиблово у меня, в квартире моей, будет очень важная встреча. С покупателями. С грузинами. Денег нет совсем. А грузины собираются вроде купить, так я понял, мои картинки.
- Все понятно. Поедем, Толя!
- Мы вышли на улицу, мокрую от дождя, недавно прошедшего.
- Поймали такси. Сказали адрес шоферу. Вместе устроились поудобнее на заднем сиденье. Поехали.
- Вначале – просто молчали.
- Потом – разговаривать стали.
- Перед каждой поездкой в Свиблово, или в Гиблово, как его Зверев пронигательно, как оказалось через годы, потом, называл, Толя нервничал – мало ли что может в этой квартире случиться? – и поэтому был я с ним, как и прежде порою, рядом.
- Ехали мы по центру столицы. Потом повернули прямо к Москве-реке.
- Справа был виден дом. Кирпичный. Отчасти похожий на терем. Старой постройки. Стоящий особняком от прочих домов. Как будто специально – от них в стороне.
- Зверев мотнул головой на этот кирпичный дом:
- Вот здесь все и началось!
- Я спросил его:
- Что началось?
- И Зверев ответил:
- Да все. Все, что потом со мной вскоре произошло. По судьбе, я так полагаю. В этом доме жил Фальк. И я бывал у него нередко. Туда меня Румнев привел. И Фальк, человек серьезный, проникся ко мне симпатией. И работы мои тогдашние привели его сразу в восторг. Живопись он понимал. И разбирался в ней намного лучше других. И сказал он тогда, что такие художники, представляешь, как я, да, так и сказал, рождаются раз в столетие. Вот с этого все, Володя, вскоре и началось.
- Я сказал:
- Конечно же, Фальк правильно все говорил.
- Зверев, тихо:
- Думаю, правильно.
- И, взглянув за стекло с дождевыми каплями, замолчал.
- Мы выехали из центра.
- Двигались в сторону Свиблова.
- Зверев снова заговорил:
- Все хорошее нарисовал я, и не спорь со мной понапрасну ты, Володя, до шестидесят пятого года. Потом – была сплошная халтура.
- Ну что ты заладил, Толя? – сказал я. – Какая халтура? Сколько потом, после этого странноватого рубежа, ты сделал прекрасных вещей! Первокласных вещей. Настоящих. Ты разве забыл об этом? Нет, не забыл. И не надо себя корить и терзать неизвестно за что. И откуда нынче взялось такое самоуничижение? Может быть, это всего лишь ностальгия по тем, далеким, дорогим для тебя временам? Жизнь, как видишь, идет. Продолжается. Ты в хорошей форме. И ты больше всех остальных работаешь. Пастернак говорил: поражения от побед не должен художник отличать. У тебя, согласишься, все равно – сплошная победа. Ты жив, слава богу. И ты – искусство свое создаешь.
- Зверев буркнул:
- Да, создаю.



Наконец мы приехали в Свиблово.

Зрелище, надо заметить, унылое. И тоскливое. Скучное. Безысходное. Бетонные серые стены. Спальный, как говорится, район. Глухой. Погребальный. Свиблово-Гиблово. Правильно Зверев его называл.

Мы выбрались из машины.

Зашли в подъезд мрачноватого, угрюмого и безликого, почти нереального дома.

Поднялись на нужный этаж.

Зверев порылся в карманах, достал ключи – и открыл скрипучую старую дверь.

Огляделся по сторонам – никого не видно, порядок.

И тогда мы зашли в квартиру.

И Зверев сразу же, резко, плотно захлопнул дверь.

Шумно вздохнул:

– Добрались!

Я подтвердил:

– Добрались.

Зверев слегка задумался.

Спросил:

– А который час?

Я взглянул на часы:

– Двенадцать.

Зверев:

– Скоро придут грузины.

Покачал головой лохматой.

Посмотрел на шкаф. На шкафу, доставая до потолка, внушительной, плотной кипой, лежали его работы.

Зверев сказал:

– Я чувствую, что эти грузины, желающие мои работы купить, прямо сейчас придут!

И действительно, в дверь позвонили.

Зверев тихо сказал мне:

– Открой!

Я открыл скрипучую дверь.

И в квартиру – ввалились грузины.

Оживленные, очень шумные.

Хорошо одетые. Свежие. Кто – с усами, кто – без усов.

Были вроде бы это киношники.

Развеселая, в общем, компания.

Начались восклицанья, приветствия.

– Мы приехали!

– Здравствуйте, Толя!

– Мы нашли вас довольно быстро.

– Где работы? Давайте смотреть.

Зверев руки всем им пожал.

Незаметно, платком носовым, руки вытер незамедлительно.

Сунул смятый платок в карман.

И сказал тогда:

– Всем привет!

И представил меня:

– Володя Алейников. Русский поэт.

– О, поэт! – сказали грузины. – Хорошо. Мы любим поэзию.

- Зверев – им:  
– Вы садитесь. На стулья. На диван. Поместитесь все.  
И грузины уселись, кто где. Все, как Толя сказал, разместились.  
Театральная нужная пауза, незаметно образовавшись, как-то слишком уж затянулась.
- И сказали грузины:  
– Толя, покажите работы. Мы ждем.  
Зверев к шкафу придвинул стул.  
И достал со шкафа – работы.  
Так, не глядя. Целую груду.  
Положил их, все оптом, на стол.  
И сказал грузинам:  
– Смотрите!  
Все работы были – на ватманской бумаге. Довольно большими по формату.  
И черно-белыми, и цветными. Все – выразительными, интересными. Разных лет.  
Стали грузины бережно перебирать работы.
- О, какая вещь!  
– И вот эта!  
– И вот эта!  
– Ах, красота!  
Зверев молча смотрел на них.  
Раз пришли, то пусть выбирают.  
И грузины спрашивать начали.  
– Сколько стоит вот эта вещь?  
Зверев, коротко:  
– Сто рублей.  
– Мы берем. А вот эта вещь?  
Зверев:  
– Сто пятьдесят.  
– Берем. А вот эта? И эта? И эта?  
Зверев:  
– Эти? По сто рублей.  
– Так, берем. А вот эта, очень симпатичная акварель?  
Зверев:  
– Эта? Двести рублей.  
– Хорошо. И эту берем.  
Добрались грузины до скромного, не из лучших, рисунка.  
Спросили:  
– Сколько стоит?  
И тут, неожиданно, Зверев молвил:  
– Не продается.  
– Почему? – зашумели грузины – Мы готовы купить рисунок.  
Зверев, твердо:  
– Не продается!  
Загалдели грузины дружно:  
– Почему он не продается? Мы готовы его купить!  
Зверев, с ноткой стальной:  
– Нельзя!  
Зашумели грузины:  
– Толя, ну пожалуйста! Ну продайте!  
Зверев сделал вид, что задумался. И сказал им:  
– Это шедевр.

- И грузины – переглянулись.  
И воскликнули:
- Мы его купим!
  - Зверев этак вроде бы грустно и устало махнул рукой. И сказал им:
  - Ладно. Берите.
  - Взволновались тогда грузины:
  - Сколько стоит? Скажите, Толя!
  - Зверев, резко:
  - Триста рублей.
  - Растерялись грузины:
  - Толя, это все же дороговато. Столько денег мы не найдем!
  - Зверев, глядя на них в упор:
  - Нету денег – так не берите. Пусть шедевр у меня останется. Так спокойнее для души.
  - Посоветовались грузины. И воскликнули:
  - Мы берем!
  - Зверев – им:
  - Так и быть, берите.
  - И грузины – ему:
  - Хорошо!
  - Зашуршали грузины деньгами.
  - Протянули их Звереву:
  - Вот. За работы. Спасибо, Толя!
  - Зверев сунул деньги в карман.
  - И сказал грузинам:
  - Хорэ!
  - Что? – спросили грузины.
  - Хорэ. Это значит – все хорошо.
  - Интересно, – сказали грузины. – Мы не знали такого слова.
  - Зверев:
  - Да. Это было раньше. А теперь вы его – узнали. И словарь свой обогатили новым словом русским. Бодрит!
  - Что? – спросили грузины.
  - Бодрит. Все на свете сейчас – бодрит.
  - А, – сказали грузины. – Бодрит? Интересно. Пускай бодрит. Мы довольны.
  - Берем работы.
  - Принялись грузины сворачивать, аккуратно, в рулон, работы.
  - Зашуршала бумага.
  - Зверев им сказал тогда:
  - Осторожнее!
  - И грузины:
  - Да мы стараемся!
  - И увидели, что одна акварель была чуть измятой.
  - И спросили:
  - Как ее выпрямить?
  - Зверев:
  - Просто. Возьмите утюг. Теплый, помните. Не горячий. И с изнанки работу прогладьте утюгом. Вот и все дела. И работа опять будет ровной.
  - И сказали грузины:
  - Сделаем!
  - И сказали:
  - Спасибо, Толя!

- Благодарны мы вам.
- Спасибо.
- Взяли купленные работы, весь рулон. Попрощались с нами:
- До свидания!
- И – ушли.
- Зверев дух перевел:
- Ну, все! Дело сделано. Полный порядок!
- Извлек из шкафа чекушку водки. Плеснул в стаканы быстро:
- Давай дерябнем!
- Выпили мы. И Зверев сказал мне:
- Спасибо, Володя!
- За что?
- За то, что был рядом. А то я изрядно нервничал.
- Если это тебе помогло сегодня, то не напрасно был я рядом. Все хорошо.
- Зверев:
- Точно. Все хорошо.
- Я спросил его:
- Слушай, Толя, почему ты рисунок, средний, согласишься-ка со мной, по уровню, оценил дороже других, тех, что были сильнее, работ?
- И ответил тогда мне Зверев:
- Понимаешь, Володя, это был – театр. Абсурда, наверное. Только нужный и важный театр. Я назначил цену высокую специально. Чтобы грузины вдохновились – мол, это шедевр, как сказал я им, тоже – нарочно, чтобы этот рисунок мой, и действительно, не из лучших, так себе, среднего качества, который отдать не жалко и даром, они купили. Разыграл спектакль перед ними. И – добился ведь своего.
- Я сказал ему:
- Ты и артист, и режиссер, выходит.
- Зверев, скромно:
- Я просто художник.
- И сказал я:
- Да, ты – художник. Да еще какой! Настоящий.
- Зверев – мне:
- Понимаешь, зато деньги есть. Я отдам их детям. И отдам их матери. Надо мне родным своим помогать.
- И сказал я:
- Ты правильно, Толя, поступаешь. Людям родным в мире нашем, весьма суровом, а нередко и слишком жестоким, надо, пусть и непросто это, несмотря ни на что, помогать.
- Зверев:
- Да. Золотые слова.
- Я взглянул на часы:
- Ого! Надо ехать мне. Через час у меня назначена встреча.
- Зверев:
- Я подвезу тебя. На такси. Пора нам отсюда уезжать как можно скорее. Собирайся. Давай, пойдем!
- И вышли мы из квартиры. И поймали такси. И уехали. Зверев – к родственникам своим. Я – на встречу, довольно важную для меня. Решили, что вскоре мы увидимся вновь. И действительно, мы встретились, дня через два.
- Дружба – есть на Руси. Была? Там, в минувшем, осталась? Нет. Продолжается. И живет. Ясным светом и днесь исцеляет.

\* \* \*

.....  
...Когда-то – ну и зачин! – да что же поделать, если действительно это было, как ни крути, – когда-то.

Когда-то, в семидесятых, обитал я, конечно, временно, сколько-то дней всего, у хороших людей, которые приютили меня у себя, на Грайвороновской улице.

Грай вороный – вроде бы не был слышен на этой улице.

Зато тишины в квартире, когда уходили хозяева на работу, меня оставляя совсем одного, в пустоватой, холодноватой комнате, было – хоть отбавляй.

Тишины – одиночества. Долгого. Сросшегося со мной.

Тишины – с которой смиряться приходилось мне каждый день, из нескольких дней, проведенных на Грайвороновской улице.

Залетал в открытую форточку сырой, беспокойный ветер.

Будоражил меня. Потом – улетал куда-то обратно.

И тишина – въедалась в сознание, проникала в мысли, томила, мучила, изуверски меня раздражала.

Вроде бы раньше я любил тишину – но сейчас она, довлея над временем, идущим слишком уж медленно, сгущаясь над головой, нависая над всеми сложностями жизни моей невеселой, становилась невыносимой.

Никто не звонил мне. И я никому не звонил. Зачем? Кому я что-то скажу хорошее? Чем порадую знакомых? Нечем их радовать. Лучше – перетерпеть. Лучше – выстоять сызнава мне. Как и прежде – просто держаться.

Вот и держался. Выстаивал.

Это ведь – не впервой.

Многому научила меня бездомная жизнь.

Она затянулась надолго.

Было в ней мало толку?

Нет, предостаточно. Смысла – тоже, хоть отбавляй.

Закалка была – суровой.

Испытаний на прочность, неожиданных, непредвиденных, постоянных, неизбежных и окаянных, было столько, что несть им числа.

Но судьба – меня берегла.

Передышки давала мне. И возможности отдышаться, постепенно прийти в себя, чтобы с новыми силами дальше уходить в горнило скитаний, в завихренье ненастных дней.

И поэтому дорожил я вот такими, на время, пристанищами, как эта квартира тихая на Грайвороновской улице.

Хозяева мне оставили много бумаги – рулоны помятые, с чертежами, с какими-то мелкими цифрами.

Наверное, думали – стану что-нибудь я писать.

Но стал я тогда – рисовать.

День за днем – рисовал, рисовал.

И лежали груды рисунков – на столе, на полу, везде.

Ну а я – продолжал рисовать.

В чем спасение? Только в творчестве.

И – защита, от лютой, гнетущей, как туман, день за днем, тишины.

И рисунки ведь получались – интересными. Понимал я: эти серии – выражение всех моих одиноких дней.

И однажды утром раздался в дверь квартиры – громкий звонок.

Я открыл тяжелую дверь.

На пороге стоял – Толя Зверев.

- И воскликнул я:
- Толя! Ты?
- Зверев:
- Я!
- Как меня ты нашел?
- Сколько раз ты мне задавал этот странный вопрос? Нашел.
- Проходи.
- Прохожу.
- Сюда. Здесь живу я. Вот в этой комнате.
- Вижу.
- Зверев присел на стул. Огляделся вокруг. Увидел сразу груды рисунков моих.
- И спросил, для порядка:
- Твои?
- Да.
- Хочу посмотреть.
- Смотри.
- Зверев долго смотрел рисунки.
- И сказал:
- Послушай, Володя! Ты меня порадовал нынче. Все – твое в рисунках. Узнать их можно будет за километр.
- Я ответил:
- Спасибо, Толя!
- Из спасибо, – сказал мне Зверев, – шубу, помни, мой друг, не сошьешь.
- И стал выбирать рисунки, один за другим, так быстро, что руки его мелькали стремительно, как у факира, выхватывая листы и складывая их в сторонке, – и вскоре образовалась изрядная стопка рисунков.
- И Зверев сказал:
- Ну, хватит.
- Я спросил:
- Зачем ты их выбрал?
- И Зверев сказал:
- Собирайся. Поедем с тобой к Стивенсонихе. Буду я там работать. А рисунки твои – берем с собой. Подарим хозяйке. Надо тебя рекламировать. Она их охотно возьмет.
- Сказал я:
- Ладно, поедem.
- Быстро собрался. Мы вышли из квартиры вдвоем. Рисунки Зверев свернул в рулон и сунул себе под мышку.
- На улице, по традиции, Зверев поймал такси.
- И с улицы Грайвороновской мы поехали в центр Москвы.
- Стивенсониха – то есть известная Нина Андреевна Стивенс – встретила нас радушно в своем, отдельном, внушительном, собственном, вопреки большому вопросу квартирному, испортившему москвичей, существующем особняке.
- Стройная, крепкая дама.
- Уверенная в себе.
- Молодящаяся – слегка.
- Хозяйка особняка.
- В Гагаринском переулке.
- Не где-нибудь на окраине, а в самом центре столицы.
- Я подумал: «Небось казачка. Есть в ней эта порода, есть!»
- Фамилия Нины Стивенс девичья была – Бондаренко.
- И родом, насколько я помню, была она из Оренбурга.

Так что была она, скорее всего, казачкой.

Вроде была она в юности пламенной комсомолкой. Но жизнь ее изменилась, когда она вышла замуж за Эдмунда Стивенса, крупного журналиста американского, поселившегося в Москве на долгие годы, вместе с русской своей женой. И стала она со временем проявлять интерес немалый, постепенно все возрастающий, к творчеству наших художников, авангардных, подпольных, так можно сказать об этой странноватой и колоритной, притягательной, пестрой братии, независимой, бурной, пьющей, но при этом работоспособной, не имеющей никакого отношения к официозу, разрастающейся непрерывно и ряды свои пополняющей, вопреки запретам и сложностям всей советской тогдашней жизни. И стала она общаться и даже дружить вот с этими художниками. И стала работы их покупать. И даже стала она работы их выставлять – не в Союзе, а за границей. И ее особняк стал известным местом встреч и сборищ богемных. И сама она тоже стала одной из самых известных в нашей древней столице дам. И к ней, хозяйке чудесного московского особняка, жене журналиста Стивенса, собирательнице авангардной живописи и графики, статной, прекрасно одетой, с манерами аристократки, вышедшей из простых, рядовых советских людей и поэтому демократичной со всеми, порой по-простецки, но со значением, знай, мол, наших, помни об этом, ведущей себя с гостями, приехали мы со Зверевым.

- Здравствуй, Толя! – сказала приветливо Нина Стивенс. – Ну вот и встретились наконец! Я рада тебе.
- Зверев ей представил меня:
- Познакомься. Это Володя Алейников. Друг мой хороший. Гениальный русский поэт.
- Нина Стивенс – приветливо – мне:
- Я знаю о вас. И даже читала ваши стихи. Рада видеть вас у себя.
- Я – в ответ – ей:
- Что ж, я тоже рад.
- Нина Стивенс, широким жестом:
- Проходите в дом, проходите!
- Мы зашли в особняк. Оказались в светлой, чистой, просторной комнате.
- Нина Стивенс спросила Зверева:
- Толя, что у тебя за рулон?
- Зверев:
- Это рисунки Володины. Он поэт, и все это знают. Но еще и хороший художник. Даже очень хороший, поверь.
- Нина Стивенс:
- Как интересно!
- Зверев – ей:
- Вот рисунки. Бери.
- Нина Стивенс:
- Я посмотрю?
- Зверев – ей:
- Посмотри, конечно!
- Нина Стивенс тут же, немедленно, посмотрела рисунки. Сказала:
- Да, рисунки очень хорошие.
- Зверев:
- Это тебе. В подарок.
- Нина Стивенс:
- Правда? Спасибо!
- Зверев – ей:
- Пусть рисунки будут у тебя. Они тебе, знаю, пригодятся еще, потом.

- Нина Стивенс – мне:
- Значит, это в самом деле подарок? Ваш? Так, Володя?
- И я сказал ей:
- Ну конечно, подарок. Берите!
- Нина Стивенс:
- Благодарю!
- И взяла рулон. Унесла его, просияв, улыбаясь, куда-то.
- Мы со Зверевым закурили.
- Хорошо здесь. Просторно, тепло.
- Нина Стивенс вернулась:
- Толя! Будешь ты рисовать сегодня?
- Зверев:
- Буду. Ведь я обещал.
- Нина Стивенс – ему:
- Смотри!
- И широким, свободным жестом показала на стол, где лежали коробки, большие, пестрые, с заграничной, такой и не сыщешь днем с огнем у нас, акварелью, и, на выбор, кисти различные, заграничные тоже, и плотная, самых лучших сортов, бумага.
- Нина Стивенс – Звереву:
- Толя, это все – для тебя. Для работы.
- Почему-то Зверев поморщился. И насупился. Помрачнел.
- Я взглянул на него удивленно.
- Не вошла, а впорхнула в комнату нарядная девочка, маленькая, веселая:
- Здравствуйте, дяди!
- Мы ответили, вместе:
- Здравствуй!
- Нина Стивенс – Звереву:
- Толя, вот ее будешь ты рисовать!
- Зверев:
- Нечем ее рисовать!
- Нина Стивенс:
- Как это – нечем? Акварель, и бумага, и кисти – на столе! Это все – для тебя!
- Зверев:
- Нет, мне нужна другая акварель.
- Нина Стивенс:
- Какая?
- Зверев:
- Мне нужна акварель – моя. Та, которой привык я работать. Та, простая, твердая. Школьная. Та, дешевая акварель.
- Нина Стивенс:
- Но где ее взять?
- Зверев – ей:
- Акварель мы найдем! Где найдем? В магазине. Ближайшем.
- Нина Стивенс:
- Чудишь ты, Толя!
- Зверев:
- Нет! Чудить и не думаю. Мне нужна моя акварель. Не какая-нибудь, а моя. Та, которую я люблю. Понимаешь? Моя, родная.
- Нина Стивенс:
- Ох, Толя, Толя!
- Зверев – мне:



- Володя, пойдем! Акварель мою – мы найдем!  
Я сказал:
- Если надо – пойдем.  
Зверев:
- Нина, мы скоро вернемся!  
И – стремительно ринулся к выходу.  
И пришлось мне идти за ним.  
На улице Зверев быстро огляделся. Сказал:
- Туда! Там, я помню, есть магазинчик. Называется – канцтовары. Там найдем акварель мою.  
Мы прибавили ходу. И вскоре оказались уже в магазине.  
И действительно, там продавалась необходимая Звереву школьная акварель.  
Зверев бросился к продавщице:
- Три коробки – вот этой, школьной, акварели. Да поскорей!  
Продавщица сказала:
- Пожалуйста!  
Зверев мелочь извлек из кармана. Заплатил ей – за акварель. Сунул все три коробки в карман. И воскликнул:
- Вперед, Володя!  
Мы вернулись с покупкой обратно в особняк Нины Стивенс, отдельно от окрестных построек стоящий, независимо и спокойно, словно всем своим видом, особенным, не советским совсем, неприступным для людей чужих, любопытных, говорящий – мол, что ему, крепкому, как орешек, и время, и власти, если вот он, стоит себе, в центре этой древней столицы, годами, нерушимо, сам по себе.
- Нина Стивенс встретила нас:
- Быстро вы. Что, нашли акварель?  
Зверев – ей:
- Конечно, нашли!  
Нина Стивенс:
- Будешь работать?  
Зверев:
- Буду. Вперед! Бодрит!  
И чудесная девочка маленькая появилась, как светлая фея, перед нами вновь, чтобы Звереву для портрета сейчас позировать.
- Зверев:
- Миска с водой нужна!  
Нина Стивенс:
- Понятно. Сейчас.  
Принесла глубокую миску, наполненную водой.  
Поставила миску на стол.  
Зверев – девочке:
- Слушай, красавица! Ты сиди – и смотри на меня. Буду я тебя рисовать.  
Нина Стивенс:
- Увековечишь?  
Зверев:
- Точно. Увековечу.  
Он открыл сразу все три коробки с акварелью школьной. Швырнул плитки твердые красок в миску с расплескавшейся вмиг водой. Размешал эти плитки, растер, словно кашу готовил, в миске. Разноцветной стала вода.  
Он смахнул со стола все кисти – кроме самой широкой, одной, и проверил ее на прочность, и зажал ее в кулаке.

Он убрал со стола коробки с заграничной, ненужной ему, пусть и качественной, но чужой, не родной совсем акварелью.

Он сбросил на пол бумагу, приготовленную для работы.

И оставил – один-единственный, приглянувшийся почему-то, лист бумаги, пока еще – белый, не заполненный красками, чистый.

Он взгляделся в девочку-фею.

И сказал ей властно:

– Сидеть!

И ответила девочка:

– Да.

И тогда – Зверев начал работать.

Все мелькало, кружилось, падало и взлетало в его руках – акварель, и кисть, и бумага, и расплеснутая вода.

Он из миски цепко выхватывал размягченные плитки школьной акварели – и тыкал ими, резко, точно, быстро, – в бумагу.

Он размахивал кистью широкой – и водил ею, тоже быстро, и прицельно, и артистично, по листу бумаги, который, под неслыханным натиском зверевским, начинал уже оживать.

Он был весь – в синкопическом, джазовом, так сказать мне хочется, ритме.

Он работал. Был весь – в работе.

Он – портрет создавал. Творил.

Наконец он шумно вздохнул.

Поглядел на работу свежую.

И сказал усталое:

– Все!..

Распрямился. И улыбнулся.

И добавил, с достоинством:

– Есть!

Подбежала девочка-фея.

Посмотрела портрет:

– Это я!

Зверев – ей:

– Ну конечно, ты!

Подошла Нина Стивенс. Взглянула на портрет:

– Толя, это шедевр.

Зверев:

– Пусть поначалу высохнет. Он еще станет лучше – потом.

Нина Стивенс:

– Ох, Толя, Толя! Ты волшебник.

Девочка:

– Правда? Он волшебник?

Я:

– Да. Это правда.

Нина Стивенс:

– Он чародей!

И сказала девочка-фея:

– Дядя Толя, сделайте чудо!

Зверев – ей:

– Ну, это я запросто!

Помахал волшебной рукой – и достал, неизвестно откуда, из-за пазухи, может, а может быть, из кармана, откуда – неважно, просто взял и достал – шоколадку.

- Протянул ее девочке:
- Вот!
  - И сказала девочка:
  - Ой! Это чудо. Люблю шоколадки.
  - Нина Стивенс:
  - Чудо – портрет.
  - Зверев:
  - Вырастет – все поймет. Без подсказок. И без шоколадок. Все поймет, я знаю.
  - Сама.
  - Нина Стивенс:
  - Надеюсь, поймет.
  - Зверев – ей:
  - Я устал, похоже.
  - Нина Стивенс:
  - Вот деньги, Толя. За портрет отличный. Держи!
  - Зверев деньги не глядя взял и засунул поглубже, за пазуху.
  - Пробурчал привычно:
  - Хорэ!
  - Нина Стивенс – обоим нам, улыбаясь:
  - Хотите выпить?
  - Я сказал ей:
  - Спасибо. Нет.
  - Зверев:
  - Нет, не хочу. Совсем.
  - Нина Стивенс:
  - Ну, как хотите.
  - Зверев – ей:
  - Мы пойдем. Бывай!
  - Нина Стивенс – нам:
  - До свидания!
  - Зверев – ей:
  - До встречи. Пока!
  - Я:
  - Всего вам самого доброго!
- И покинули мы особняк Стивенсонихин, в центре столицы горделиво стоящий, личный. Тот, в котором есть, в наше время, или, лучше сказать, безвременье, как ни странно, закономерные, потому что связаны с творчеством, всевозможные чудеса.
- Зверев – мне:
- Мы опять на воле!
  - Я ответил:
  - Пожалуй, Толя!
  - Зверев, горестно:
  - Выпить, что ли?
  - Я сказал:
  - Да лучше – не пить.
  - Зверев:
  - Правильно. Перебьемся.
  - Я:
  - Давай-ка сейчас пройдемся.
  - Зверев:
  - Свежим подышим воздухом.

- Я:
- Не знаю, как дальше мне быть.
- Зверев:
- Как это?
- Я:
- С Грайвороновской я ушел. Не хочу там больше оставаться. Уже неловко. И ключа от квартиры нет у меня. Так что снова придется мне искать сегодня ночлег.
- Зверев:
- Что-нибудь да придумаем!
- Я:
- Наверное. Дай-то Бог!..
- День вставал впереди – с загадками. Или – с тайнами. Не случайными. С чудесами. Давно привычными. С необычными – иногда. Может, будет ночлег. А может быть, и не будет. Неужто все-таки дорогим, сквозь разные сложности, станет прошлое – навсегда?..

\* \* \*

.....

...Над Москвой – ненастное небо. Нависающее над нами всею тяжестью влажной своею, то седое совсем, то свинцовое, но дождем пролиться готовое на районы столичные хмурые, на людей, спешащих куда-то по делам или просто идущих не спеша неизвестно куда и зачем, на крыши домов, на деревья в скверах окрестных, на машины, шуршащие шинами по шоссе, на все и на всех, здесь, в огромном и грустном мире, городском, со своим укладом, со своими законами странными и понятиями старинными, то приветливом, то неприветливом или даже порой враждебном, то распахнутом всем навстречу, то закрытом от всех, глухом к надоевшим ему вопросам, заставляющим думать сразу о хорошем и о плохом, то лучшемся добротой, непривычной и непростою, то на помощь стремящемся вдруг, но всегда, неизменно, разным, деловым, бестолковым, праздным, удивляющем тем, что жив, несмотря на любые беды, на невзгоды, и все победы никогда, ни разу, не скрыв, продолжающем – быть, и в этом есть родство, на века, со светом, не случайно ведь встарь воспетым, да и нынче, хвала поэтам, нет им смысла душой кривить, и нельзя его, этот город притягательный, не любить.

- Зверев поднял глаза:
- Володя, день какой сегодня у нас?
- Я ответил ему:
- Понедельник.
  - Понедельник! – воскликнул Зверев. – Ну конечно же. Едем к Пинскому!
- Я спросил его:
- Но зачем?
  - Понимаешь, – ответил Зверев, – понедельник – особый день. В понедельник я езжу к Пинскому. Постоянно езжу. Так надо. В понедельник Пинский, запомни, каждый раз выдает мне десятку. Выдает аккуратно, всегда. За мои картинки, понятно. У него их, в его квартире, целый склад. Продает их Пинский помаленьку. И выдает мне десятки по понедельникам. Называется это – на жизнь. Или, можно сказать, – на питание. На кормежку, если попроще говорить. Благодетель такой. Для меня это – вроде игры. Проезжаю к нему в понедельник. Получаю десятку. Беседую с ним о жизни и об искусстве. Человек он весьма интересный. Пожилой. Сидел в лагерях. Образованный. Даже

очень. Филолог. Знаток Возрождения серьезный. Шекспировед. Пишет книги свои. Помогает, в меру сил своих и возможностей, он не только мне, – между прочим, Ерофееву Вене он помогает, я это знаю. Может, станет он помогать и тебе? Почему бы и нет? Почитаешь ему стихи. Он, я думаю, их поймет. И решит и тебе помогать. Раз в неделю. По понедельникам. По десятке начнет выдавать. А десятка тебе, Володя, очень даже не помешает, согласись. Поехали к Пинскому! Время дорого. Собирайся!

Я сказал тогда:

- Кто такой Леонид Ефимович Пинский, мне известно уже давно. Он дружен с Оскаром Рабиным, с лианозовцами. Сапгир мне рассказывал часто о нем. Он Бахтину помогал с изданием монографии о Рабле. Человек он смелый. За Синявского с Даниэлем заступался. Галича знал. О богеме нашей имеет, пусть и выборочно, представление. И тебе помогает, по-своему. Говорил мне Дима Борисов, что работы твои купить, по тридцать рублей за любую, при желании можно у Пинского. И поэзию он понимает, безусловно. Можно, пожалуй, познакомиться нынче с Пинским. Так и быть. Хорошо, поедем.

За минуту собрался. Накинул куртку старую. Взял свой портфель.

Мы со Зверевым вышли на улицу.

Хоть и жаждал Толя сегодня получить десятку от Пинского, но какие-то деньги были у него, как всегда, – и поэтому он рукой помахал у обочины и привычно поймал такси.

Мы вдвоем поехали к Пинскому.

И – приехали. Встретил нас пожилой человек в прихожей, невысокий, бледный, спокойный, поздоровался с нами приветливо. Пригласил к себе в кабинет. Сел за стол. Посмотрел на нас наблюдательным, цепким взглядом.

Зверев – Пинскому:

- Познакомьтесь. Это друг мой, Володя Алейников. Между прочим, не просто хороший, или даже отличный, что, в общем-то, замечательно, я не спорю, но, заметить хочу сейчас и желаю сказать вам это, гениальный русский поэт.

Пинский – мне:

- Леонид Ефимович!

Я:

- Володя!

Пинский:

- Я рад. Я давно уже знаю о вас.

Я:

- Seriously? Очень приятно.

Пинский – мне:

- Ну конечно, серьезно. И читал я ваши стихи.

Я:

- Понравились?

Пинский:

- Да.

Зверев:

- Вот и прекрасно. Хорэ!

Пинский:

- Толя, возьмите деньги!

Приоткрыл он ящик стола. В нем лежала стопка купюр. Он достал из нее десятку. Протянул ее Звереву:

- Вот!

Зверев взял десятку:

– Спасибо! По-французски будет – мерси. Мы приехали к вам на такси. По-немецки будет – а ну-ка, дайте вспомнить мне – данке шен. Кто чего-то в жизни лишен? А по-русски будет – ну как? Не забыли совсем? Благодарствую!

Пинский:

– Толя, вы пейте поменьше. Берегите себя. Питайтесь понормальнее, регулярно, каждый день. Вам ведь надо работать. А для этого силы нужны.

Зверев сунул десятку в карман. И сказал:

– Хорошо. Постараюсь.

Пинский ящик стола закрыл. Посмотрел на нас дружелюбно.

Зверев хрюкнул – и закурил.

Я тогда огляделся вокруг.

И увидел, что треть кабинета занимали работы зверевские, окантованные, под стеклом, на полу рядами стоящие.

Я спросил у Пинского:

– Можно посмотреть?

Он сказал:

– Смотрите!

Часть работ посмотрел я. И понял – были вещи там первоклассные. Удивила меня вариация портрета известного Гейнсборо – дамы с пышными, голубыми, башней поднятыми волосами, сделанная акварелью. Был еще там великолепный, выразительный автопортрет: в рубашке, пронзительно белой, с распахнутым воротом, Зверев смотрел изумленно на мир.

Зверев – мне:

– Что скажешь, Володя?

И сказал я:

– Работы сильные.

Зверев:

– То-то!

Пинский:

– Володя, почитайте свои стихи.

Я:

– Сейчас?

Пинский:

– Да, сейчас.

Зверев – мне:

– Почитай, Володя!

Я сказал:

– Хорошо, почитаю.

Зверев – рядом сидел, на стуле.

Ну а Пинский, желающий слушать стихи мои прямо сейчас, сидел напротив меня, за столом. Над его головой, на стене с обоями блеклыми, одиноко висела ранняя работа Оскара Рабина – скособоченный старый барак.

У другой стены, на полу, громоздились работы Зверева.

Пинский взглянул на меня своими немного выпученными, из-под нависших век и мохнатых бровей глядящими, усталыми, но внимательными, с огоньком интереса, глазами:

– Володя, читайте, читайте!

Я встал тогда – и почитал те, что вспомнились мне, стихи.

Читал, как всегда, глаза прикрыв, отрешившись от всех, словно в трансе. Читал – как пел.

Наконец закончил читать.

- Пинский, сразу:  
– Стихи отличные!  
Я:  
– Спасибо. Рад, что понравились.  
Пинский – мне:  
– Володя, вы можете принести мне стихи, да побольше, на машинке перепечатанные?  
Я:  
– Попробую. Нет машинки, к сожалению, у меня. Но какой-нибудь сборник мой самиздатовский, я надеюсь, у знакомых моих найдется. Там, где я бумаги свои на хранение оставлял.  
Пинский – мне:  
– У вас нет жилья?  
Я:  
– Бездомничаю. Так вышло. Ничего. Я уже привык.  
Пинский:  
– Так... Стихи – приносите. Я попробую вам помочь с публикацией. Может, получится. Обещать ничего не стану. Потому что не так это просто. Но надеяться – можно всегда. А сейчас – подождите-ка. Вот...  
Отодвинул он ящик стола.  
И достал оттуда – десятку.  
Протянул мне:  
– Возьмите, Володя. Пригодится это, на жизнь. Приходите ко мне иногда. Буду вам помогать деньгами. Понемногу. Ну а стихи – приносите, да поскорей.  
Взял десятку тогда я:  
– Спасибо.  
Пинский:  
– Не за что. Приходите.  
Зверев:  
– Ну, Леонид Ефимович, мы пойдем!  
Пинский:  
– Что, пора?  
Зверев:  
– Именно. Нам пора!  
Пинский:  
– Что же, пора так пора. Навещайте меня. Буду рад.  
Попрощались мы с Пинским. И вышли из квартиры тихой – на улицу.  
Зверев – мне:  
– Вот видишь, Володя, будет Пинский тебе помогать. Как и мне. И десятка тебе очень даже не помешает. Это все-таки деньги. На них можно выпить и закусить. Или несколько раз поесть, где-нибудь, в обычной столовой. А стихи – разыщи ты. И Пинскому принеси их как можно скорее. Вдруг поможет их напечатать? У него ведь большие связи. Уважают его везде. Человек он, в общем-то, добрый. Навидался всякого в жизни. Но сумел уцелеть. Ученый он серьезный, это уж точно. Помогает людям талантливым выживать в наше трудное время. Так что – честь ему и хвала!  
Мы потом куда-то поехали. Где-то были. В каком-то доме. У кого? И зачем? Кто знает! Все равно. Разве вспомнишь теперь!  
Столько было визитов этих непредвиденных, безоглядных, и ночных посиделок долгих, и надежд, и частых потерь!  
Все в тумане былого скрыто.  
Это нитками белыми шито.

Может, где-то была защита.  
 Ну а где-то был и ночлег.  
 Вспоминать все подряд – не надо.  
 Хорошо, что были нам рады.  
 Иногда. Но и в том – отрада.  
 Свет маячный. Желанный берег.

...Раза два приезжал я к Пинскому. Он вручал мне тогда – десятку. Говорил со мною – о жизни, о поэзии. Был со мной неизменно приветлив, добр. И светились в его глазах – и внимание, и понимание. И звучали в его словах – и сочувствие, и участие. И таким я запомнил его.

Я привез ему сборник стихов, самиздатовский, машинописный.

Пинский взял его. Полистал. И сказал мне:

– Буду читать. Покажу стихи кое-кому. И посмотрим потом, что выйдет.  
 И прошел, наверное, месяц.

Позвонил я Пинскому. Он мне сказал:

– Приезжайте, Володя!

И тогда я приехал к нему.

Пинский сборник мой самиздатовский из стола достал. И сказал:

– Ничего не выходит, Володя! Я пытался помочь, но – увы... Не хотят они вас издавать. Вам, надеюсь, ясно сейчас, что «они» – это те, наверху. Те, которые ныне у власти. В том числе и в среде писательской. Почему – непонятно. Хотя догадаться можно, пожалуй. Из-за СМОГа в первую очередь. Из-за ваших, пусть и не частых, публикаций стихов за границей. В зарубежных разных изданиях. Из-за вашей, такой очевидной, непохожести на советских стихотворцев. Из-за того, что поэт вы очень серьезный, настоящий. Из-за того, что не станете вы идти на какие-то компромиссы. А уж в этом, поверьте, я ни секунды не сомневаюсь. Так что время для публикаций ваших, здесь, в отечестве нашем, как ни грустно мне говорить вам об этом, еще не пришло. И поэтому надо ждать просветления, там, в грядущем, в жизни общества и в политике. И тогда, я уверен, будут вас на родине издавать. Вы работайте, вы пишите. И – мужайтесь. Вам надо выстоять. Все равно вы уже состоялись как поэт, и довольно давно. Все равно вы такой, как есть. В самиздате вас любят и знают. И поклонников много у вас. Так что вы – уже победили. А невзгоды вас не сломают ни за что. Вас они закалят. Жизнь сурова, что тут поделаешь. Но зато ведь и хороша. Вы об этом прекрасно знаете. И когда-нибудь все у вас наилучшим образом сложится. И спасет вас именно творчество. И никто вас не остановит, не заставит идти на попятную. Все равно вы вперед идете. А куда же еще вам идти? Вы – поэт, и все этим сказано. Все равно – вы на верном пути!..

Взял я сборник свой самиздатовский.

И сказал:

– Да, я все понимаю хорошо. Я пойду. Мне пора.

Пинский – мне:

– Но возьмите деньги! Пригодятся. Еще приходите. Буду вам и впредь помогать.

Я сказал:

– Нет, денег не надо!

И простился с Пинским. И вышел, из квартиры тихой, в пространство. Там я был – на верном пути.

Не в моих это правилах – быть от кого-то зависимым, нет. И навязываться ни к кому, никогда, ни за что, я не стану.



Как живу я, так и живу.  
 Никого ни о чем не прошу. Я такой, какой есть. Алейников.  
 Независимый человек.  
 Что важно для меня? Свобода.  
 Был всегда я – сам по себе.  
 И таким – навсегда останусь.  
 Неизменно – самим собою.  
 Налетевший внезапно ветер прошумел вдоль улицы. Небо помрачнело, потом – посветлело. Стало близким, ясным, высоким. Облака исчезли куда-то. Различил я звезду над собой.  
 Значит, в путь! Все дальше и дальше.  
 Надо выстоять. Надо держаться.  
 Несмотря ни на что. Упрямо.  
 И дано мне это – судьбой...

\* \* \*

.....  
 ...В семьдесят пятом году.

В теплую пору, когда людей столичных, изрядно стосковавшихся, в месяцы прежние, по солнцу, доброму, щедрому, радовала природа свободным своим цветением и зеленью новой своей в окрестных парках и скверах, и люди, на солнышке щурясь, незаметно, неудержимо, становились и сами светлее, и легче им было дышать, и птицы повсюду пели о том, что выжить сумели, о том, что спеть не успели, но могут все наверстать сейчас, и ветер веселый, хмельной, летал над столицей, и все, что встарь небылицей казалось, легко и просто уже превращалось в новь, и явь становилась былью, и всех чудес изобилье, как свет, проникало в кровь.

Наверное, в самом конце бурной этой весны.  
 Или в самом начале желанного для всех нас нового лета.  
 Позвонил мне однажды Зверев.  
 Как нашел меня? Как всегда.  
 По чутью своему, звериному.  
 – Але! Это я. Привет! Приглашаю тебя на обед.  
 – Куда?  
 – К одному писателю. Советскому. Это так, для справки. Но человек он, так я думаю, вроде хороший. Собирает мои картинки. Покупает их иногда. Я решил, что тебе как следует надо поесть. Да и мне тоже не помешает. Повидаемся снова. А то мы давненько с тобой не виделись. Придешь?  
 – Хорошо, приду.  
 – Тогда записывай адрес.  
 И Зверев продиктовал мне этот писательский адрес.  
 Я спросил его:  
 – Толя, скажи мне, можно с дамой туда прийти?  
 Зверев хмыкнул:  
 – Что, дама голодная? Как и ты?  
 Я сказал:  
 – Конечно. А еще – ей будет приятно познакомиться там с тобой.  
 Зверев хрюкнул:  
 – Да пусть приходит. Можно, раз уж она – с тобой. А еды там хватит на всех. Жду обоих вас. Ну, до встречи!  
 В нужный день, в нужный час я приехал вместе с дамой к писателю этому, не припомню, как звали его, но, как Зверев сказал, советскому.

Разыскали мы, пусть и с трудом, на окраине, блочный дом. Перед ним – пустырь. А подальше – симпатичный, густой лесок.

Поднялись на нужный этаж. Позвонили несколько раз.

Дверь открыл нам – советский писатель.

Невысокий. Почти невзрачный. Но – приветливый. И веселый.

– Заходите, друзья, заходите!

Мы зашли в небольшую квартиру. Двухкомнатную. А может, и трехкомнатную. Но – компактную. С невысокими потолками. Как и сам советский писатель.

Навстречу нам ринулся Зверев:

– Приехали? Ну, хорэ!

Я сказал:

– Добрались. Нашли.

Зверев, щуря пристально глаз:

– Это дама твоя?

– Как видишь!

Зверев, глядя в упор:

– Хороша!

Дама в самом деле была не хорошенькой, а красивой. Стройная, словно воздушная. Длинные темные волосы. Не голубые, а синие, магнетически притягательные, искрящиеся глаза. Легкое платьице ситцевое казалось на ней нарядом загадочной сказочной феи. Да и тайна в даме была. Но еще и тяга к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых. Но мистичность в даме не просто увлечением модным была, а ее сокровенной сутью. Позже я убедился в этом. А пока что я принимал всю ее, со всеми загадками, недомолвками, откровениями неожиданными, туманными, иногда, но чаще – пронзительно, удивительно ясными, с явной ирреальностью, но и действительно, как ни странно, вполне реальными, не случайными вовсе, но к месту возникавшими, точными, вовремя изрекаемыми, с улыбкой, ироничной или блаженной, с вырывающимся в пространство грозным или довольно мирным, обостренно чутким ко всем переменам в мире, живучим, жгучим пламенем синих глаз, то прикрытых слегка, то вдруг широко и смело открытых, прямо в жизнь, и куда-то дальше, за какую-то грань, куда лишь одна она была вхожа постоянно, – такой, как есть.

Держалась она спокойно, с достоинством, без кривляний. Цену себе она знала. И в богеме – знали ее.

Дама сказала Звереву:

– Познакомиться с вами я рада!

Зверев молча кивнул головой.

В квартире была – чистота. В квартире был – полный порядок. Пол был натерт до какого-то астрального, что ли, блеска.

На стенах, в хороших рамах, висели работы зверевские.

В основном пейзажи. Добротная, сильная живопись, маслом.

Но были там, разумеется, и портреты. Как же – без них?

Один из пейзажей – лес – был сверху, прямо по живописи, усыпан пожухшей хвоей – иголками, сохранившими упругость свою, сосновыми.

Я спросил у Зверева:

– Толя, объясни мне, а это – зачем?

Он ответил:

– Я рисовал, я старался. И вдруг захотелось, чтобы в этой моей работе появились частички леса, настоящего. И тогда я отправил хозяина – в лес. Тот, который там, за окном. Вот он, видно его. За хвоей. И принес мой заказчик иголки сосновые, целую пригоршню. И я, с превеликой охотой, усыпал ими

работу, прямо по свежей живописи. И они здесь легко прижились. Что ты скажешь? Хороший ход?

Я сказал:

– Ход – именно зверевский.

Зверев:

– Стал мой пейзаж, отличный, подчеркну, на ежа похож.

Пока мы смотрели работы, хлопотал писатель на кухне. Что-то он жарил, варил. Доносились оттуда в комнату возбуждающие аппетит ароматные, тонкие запахи.

Потом писатель из кухни приносил различные блюда – и ставил их, как заправский повар, быстро и ловко, в той комнате, где втроем находились мы, на просторный, застеленный свежей скатертью, заполняемый снедью стол.

Наконец писатель сказал:

– Все готово. Прошу к столу!

И уселись мы все за стол.

И трапеза – началась.

Были тосты. Писатель их говорил – со знанием дела.

Словно в Грузии где-то мы пировали, а не в Москве.

Был писатель таким хлебосольным! Угощал нас всех – от души.

– Ешьте, пейте, друзья!

И мы с удовольствием ели и пили.

А потом – начались разговоры.

И писатель спросил меня:

– Что, Володя, вас не печатают?

Я ответил:

– Нет, не печатают.

– Как же так? – воскликнул писатель с показным, излишне бравурным, огорчением. – Я читал ведь, в самиздате, ваши стихи! Ничего в них крамольного нет. Никакой нет антисоветчины. Есть – поэзия. Почему же не печатают? Непонятно.

Я сказал ему:

– Нет, понятно.

– Что? Скажите!

– Да все очень просто. Непохож ведь я на других.

– Вот и правильно, что непохож. Лично я приветствую это.

– Непохож потому, что я не советский, а русский поэт.

– Понимаю, – сказал писатель, – не советский, а русский. Здесь возразить действительно нечего. Сразу все становится ясно. Трудно будет вам. Вы еще молоды. Вы готовы, скажите, к трудностям?

Я ответил:

– Да, я готов.

Зверев:

– Трудности мы одолеем.

Дама:

– Главное – живы стихи.

Зверев:

– Живы. И все мы – живы.

Дама:

– Будет писать Володя с каждым годом все лучше и лучше. Он читал недавно стихи у знакомых своих. Я слушала их внимательно – и заплакала. И тогда поняла я: это – непрерывное, неудержимое и по сути своей могучее, со вселенскими ритмами связанное неразрывно духовными нитями, сквозь

пространство и время, вдаль и вперед, напрямик в грядущее, возрастающее движение животворной и светлой речи.

Зверев:

- Дама твоя, Володя, разбирается, вижу, в поэзии. Интересно – что она скажет о моих картинках сейчас?

Дама:

- Толя, твои работы достоянием станут вскоре государственным. А потом, не пройдет и полсотни лет, даже меньше, в Москве откроется, вижу это я, твой музей.

Зверев:

- Надо же! Мой музей!

Дама:

- Да!

Зверев:

- Ты провидица?

Дама:

- Можешь и так считать.

И писатель – тост произнес.

За победу русской поэзии.

За победу искусства русского.

За победу моих стихов.

За победу зверевской – всей – живописи и графики.

И пришлось нам за это – выпить.

Был обед – отменным, вкуснейшим. Да, писатель – умел готовить. И доволен был тем, что его кулинарное, высшего класса, категории высшей, искусство оценили мы все высоко.

Сразу столько слов о высоком прозвучало в квартире этой, с невысокими потолками, в честь хозяина, гостеприимного, невысокого роста, приятного и приветливого человека, и писателя, пусть и советского, принимавшего нас у себя!

И ему – это было приятно. Раскраснелся он весь – и стал говорливее, стал вести себя все свободнее и свободнее.

Зверев что-то рассказывал нам, увлеченно и артистично. В роль вошел он, изображал персонажей, тех, о которых говорил, иногда гримасничал, делал жесты руками, гибкими и подвижными, хохотал, то и дело стихи читал, и свои, и чужие, но в основном, конечно, свои, привставал со стула, ходил, то вперед, то назад, по комнате, иногда совершал круги, и, вполне возможно, магические, и обратно за стол присаживался, словом, был художник в ударе.

Синеглазая дама изрядно захмелела – и вдруг ему, ни с того ни с сего, похоже, огорошив его, сказала:

- Тебя никогда не били!

Зверев так побледнел, что лицо его стало вмиг совершенно белым.

Он взглянул на даму горящими так, что боль в них пылала, глазами:

- Это меня не били?

И схватил он стакан с вином – и с размаху плеснул вином в лицо синеглазой даме.

Дама вскрикнула – и зарыдала.

И вскочила из-за стола.

И бросилась – вон из квартиры.

И за нею хлопнула дверь.

Зверев поднял взгляд на меня и сказал:

- Ты ее догони. И верни сюда, непременно.

Я выбежал из квартиры. И увидел возле подъезда синеглазую даму, плачущую от обиды и потрясения.

И сказал ей:

– Напрасно ты глупость такую брякнула! Это Зверева, что ли, не били? Ты представить себе не можешь, сколько раз его избивали. Он весь изломан, запомни. Хорошо, что живучий. Чудом оставался он часто жив.

Дама, всхлипывая, сказала:

– Ничего я не знала об этом поначалу. Потом – увидела все, что было с ним в прежнее время – и увидела сразу, внезапно, все, что будет с ним впереди. Ну а там такое, что лучше мне об этом не говорить. И решила я Толю тогда подколоть, так, слегка, немного. Пошутить, грубовато, знаю, чтобы этим его защитить. Неудачно все получилось. Зверев смысл моей фразы не понял. Но чутье у него звериное, это сразу стало мне ясно. И о чем-то он догадался. Потому и плеснул вином – не в меня, а в то, что почуял за словами моими резкими. Может, надо мне было все же промолчать тогда? Нет, не надо. Лучше было – сказать. И я все сказала ему, напрямую. Признаю, получилось жестоко. И теперь я, конечно, раскаиваюсь. Но – не полностью. Потому что я должна была это сказать. И еще я чувствую – Зверев начинает все понимать.

Я сказал:

– Пойдем-ка обратно. Успокойся. Нас ждут. Пойдем.

И вернулись мы с ней в писательскую, с хлебосольным застольем, квартиру.

Дама, сразу:

– Прости меня, Толя!

Зверев:

– Ладно уж. Бог простит.

И наполнил вином стаканы.

И сказал, обращаясь к даме благодушно:

– Старушка, выпьем! Успокойся, да поскорее. Не сержусь я уже нисколько на тебя. Ну, за дружбу! Мир!

И просиявшая дама выпила вместе со Зверевым.

И мы с писателем – выпили.

Зверев – тихо и грустно – даме:

– Почему ты это сказала – что меня никогда не били?

Дама:

– Честно?

Зверев:

– Конечно.

Дама:

– Видела я, что тебе предстоят испытания в будущем – и похлеще всех предыдущих. Будут бить тебя, к сожалению. И сильнее, чем раньше били. Потому-то я и сказала, что тебя никогда не били. Но куда страшнее побоев – и душевные муки твои, и житейские сложности разные, что изматывают тебя, не дают покоя тебе никогда, ни ночью, ни днем. И спасением станет любовь для тебя, запомни – любовь. За нее ты крепче держись. И тогда еще поживешь. И в искусстве многое сделаешь.

И задумался Зверев о чем-то. К даме вдруг обратился:

– Послушай! Неужели ты все же провидица? Ну откуда ты знаешь, что будет, через сколько-то лет, да не где-нибудь, а в Москве у нас, мой музей?

Дама:

– Толя, поверь, так бывает – часто вижу я все наперед.

Зверев:

- Надо же! Значит – бывает!..  
Дама:  
– Да.  
Зверев:  
– Ясно. Хорэ!  
И писатель сказал:  
– Ура! А теперь – давайте-ка выпьем!  
И воскликнул Зверев:  
– Давайте! Ну, хозяин, скорей наливай!  
И застолье наше продолжилось.  
И пришел незаметно вечер.  
И настала пора покидать нам троим – квартиру писательскую.  
Попрощались тогда мы с хозяином.  
И на улицу вышли, втроем.  
Зверев, я и притихшая дама.  
Загорались окна в домах. И стеною темной казался тот лесок, в котором писатель собирал иголки сосновые, для пейзажа свежего зверевского.  
Толя – мне:  
– Вы теперь куда?  
Я:  
– Пока что и сам не знаю.  
Дама:  
– Что? Мы поедem ко мне.  
Зверев – нам:  
– Я вас довезу.  
Помахал рукой на обочине.  
Остановил такси.  
Пригласил нас:  
– Ну, залезайте!  
И поехали мы, втроем, на такси, в сердцевину теплого, в огоньках, повсюду мерцающих, разгорающихся, под звездами в ясном небе, столичного вечера.  
И довез нас, меня и даму синеглазую, Зверев до места.  
И сказала Звереву дама:  
– Толя, ты уж прости меня!  
И ответил ей Зверев:  
– Забуди!  
Я сказал:  
– Что ж, до встречи, Толя!  
Зверев – мне:  
– Постой. Погоди.  
Из-за пазухи вынул бутылку коньяка. Протянул ее мне:  
– Пригодится еще. Держи.  
Взял бутылку я:  
– Вот спасибо! Просто чудо! А как же – ты?  
Зверев – мне, улыбнувшись лукаво:  
– У меня есть еще две бутылки!  
И потряс полый пиджака. Там действительно что-то булькнуло, мелодично, тихонько звякнуло.  
Я:  
– Понятно. Тогда – все в порядке.  
Зверев – даме:  
– А это – тебе!

И достал из-за пазухи две шоколадки, лимон, апельсин и большое румяное яблоко.

Протянул это даме:

– Держи!

Дама:

– Толечка, вот спасибо!

Зверев – ей:

– Старушка, держись! Будь поласковее с Володей.

Дама – Звереву:

– Постараюсь!

Я достал из портфеля свой сборник самиздатовский:

– Толя, дарю!

Зверев:

– Это серьезный подарок. Не коньяк, не лимон, а стихи. Подпиши-ка мне сборник свой.

Я спросил:

– А чем подписать? Ручки нет у меня. Потерялась.

Зверев:

– Ручка всегда найдется. Или, может быть, карандаш.

Он порылся в карманах. Достал карандаш оттуда:

– Держи!

Сборник свой я ему подписал.

– Вот, готово. И ты держи. Карандаш свой возьми, пригодится.

Зверев сунул сборник за пазуху. Карандаш – положил в карман.

Я сказал ему:

– Почитай ты стихи мои, на досуге.

Зверев:

– Будет в жизни досуг. В перерывах, после работы. И поэтому не сомневайся – почитаю твои стихи. Потому что мне они нравятся. А верней – они мне по душе. И плевать, что тебя не печатают. Напечатают, будь уверен. Все, до строчки, потом напечатают. Наше время – там, впереди. Там, в грядущем, высоким слогом говоря, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Ты – стихами, а я – картинками. Это будет именно так. А пока что – пускай стихи твои не печатают оглоеды и тупицы советские всякие. И картинки мои пускай гады всякие не выставляют. Ни следа от них не останется, от тупиц, оглоедов и гадов. Даже мокрого места и то не останется. Так, пустота. Ну а мы с тобой – победим.

Я сказал:

– Да, мы – победим.

Синеглазая дама слушала наши речи – и вдруг заплакала.

Я спросил ее:

– Что с тобой?

Дама:

– Ах, вы такие хорошие, оба! Жаль мне вас почему-то. Но и я понимаю: вы оба обязательно победите.

Зверев:

– Слушай, Володя, пророчицу. Значит, видит все наперед.

Шофер – из машины:

– Кто-нибудь поедет дальше? Я жду. Ну а счетчик, понятно, крутится. Так что вы поскорей решайте – кто поедет, а кто остается.

Зверев:

– Надо мне ехать. Дела у меня. Мы еще увидимся.

И уехал он. На такси.  
 По делам. По своим, по зверевским.  
 Дел немало ведь у художника.  
 Даже вечером. Да и ночью.  
 Мы остались вдвоем. И дама мне сказала:  
 – Какой он славный, этот Зверев! И одинокий..  
 И покрепче взяла меня под руку.  
 И глаза ее синие вспыхнули благодарным, горячим огнем.  
 В небе звезд было вдосталь. И вечер был на редкость теплым. И нынче кто же  
 вспомнит и кто нам скажет, что таилось когда-то в нем?..

\* \* \*

.....  
 ...Память – не просто загадочна.  
 Память – сплошная тайна.  
 Память – хранилище странное всего, что бывало в прошлом, что в жизни  
 моей, такой уж, как есть, как она сложилась, когда-то происходило.  
 И что-то – порой забывалось, как будто вдали скрывалось.  
 А что-то – как-то внезапно, само ко мне приходило.  
 Само ко мне возвращалось.  
 И, значит, со мной не прощалось.  
 Просто ждало – когда же вернется оно ко мне.  
 И – оживало снова.  
 И слышал я каждое слово.  
 Из лет, встающих из мрака, воскресших в ночном огне.  
 И видел тогда я – многое.  
 И прошлое было – рядом.  
 И здесь, в настоящем, сызнова становилось оно родным.  
 В отборе событий – строгое.  
 Но – щедрое. С певчим ладом.  
 И, значит, живое, личное, – быть не могло иным.  
 Да, выжившее упрямо.  
 Сквозь все прошедшее драмы.  
 Сквозь все трагедии. Вырвавшись, из сонма невзгод, вперед.  
 К желанному свету. К людям.  
 Сюда, где мы есть – и будем.  
 Туда, где в грядущем встретимся. Где кто-то зовет и ждет.  
 И, стало быть, продолжается движение неумное.  
 Наверное, по спирали.  
 Конечно, и вглубь, и ввысь.  
 И – вдаль. Ну, само собою.  
 Поскольку дано – судьбою.  
 Как дар или мир – огромною.  
 И – звезды над ней зажглись.

Так что же мне рассказать?  
 Как нити опять связать?  
 Незримые нити. Прочные.  
 Пусть что-то само придет.  
 Ведь встречи привычно ждет.  
 В словах и деталях – точное.  
 Возникнет призывный звук.



Расширится речи круг.  
Услышу – музыку чистую.  
Увижу – заветный знак.  
Смелее – и только так!  
Скажу – и, как прежде, выстою.

Вспоминаю семидесятые, на события разные щедрые, на любые драмы богатые, для меня – все равно крылатые, как и прежние годы, поскольку, несмотря на всякие сложности, я работал много тогда и спасался этим всегда.

Вспоминаю семидесятые, с их скитаниями постоянными, с их тревогами окаянными, с их сражениями неизбежными с оголтелыми силами зла, словно были это не мирные, а военные годы, когда приходилось все время держаться, не сдаваться, упрямо выстаивать, вопреки обстоятельствам трудным, быть всегда начеку, в строю, оставаться самим собою, принимать все как есть, с достоинством неизменным, идти упорно, сквозь невзгоды, туда, где виден впереди был волшебный свет.

Вспоминаю семидесятые, с их немыслимой протяженностью и во времени, и в пространстве, потому что столь много в них умещалось тогда историй, приключений невероятных, огорчений, сомнений, долгих, одиноких, глухих ночей, дней голодных и зим холодных, летних улиц с жарой палящей, смутным ветром вблизи пылящей, затихающим там, вдали, где осенние зрели зерна, где опомниться не зазорно, как терзать меня ни могли расставания с тем, что было драгоценным, что впрямь томило, угнетало порой, но вновь, побеждая в борьбе суровой с прежним горем, с весной новой наконец-то ждала любовь, и тогда жизнь казалась раем, но за гранью, за рваным краем яви, вновь проливалась кровь, и опять, посреди страданий, приносивших за вестью весть, озарений и ожиданий было столько, что их не счесть.

Вспоминаю Оксану Михайловну Синякову-Асееву, зверевскую небывалую, фантастическую и неистовую любовь.

Мы однажды приехали к ней.

С нами был еще и «трубач», так вот Зверев его называл, музыкант, довольно известный в мире джаза, Герман Лукьянов, оказалось – сын Музы Павловой, поэтессы и переводчицы, рослый, странный, меланхоличный человек, и его подружка, почему-то в корсете, высокая и одетая странновато, по давнишней вроде бы моде, из двадцатых или тридцатых, довоенных, совсем далеких от теперешней жизни, годов.

Приняла нас Оксана Михайловна как всегда приветливо. Стала угощать нас чаем с вареньем и беседовать с нами. О чем? Да почти ни о чем. По-светски. Шебетала – совсем по-птичь. Словно Хлебников сочинил эти звонкие речи ее.

Зверев чай из чашки фарфоровой пил – и слушал ее задумчиво. И – помалкивал больше. Лишь изредка говорил что-нибудь простое.

Но зато Лукьянов – охотно говорил. Непрерывно, много.

И вдобавок сказал, что он, музыкант, – тоже пишет стихи.

И немедленно их прочитал.

Были в них – эпохальные строки:

«Нервы, нервы, стервы, стервы».

Как-то нам неуютно стало.

И смутилась Оксана Михайловна.

И напрягся, набычился Зверев.

И вздохнул я: ну что за дела!

Но зато подруга Лукьянова горделиво на всех поглядела – вот, мол, знаете, какие бывают современные суперстихи!

Почему-то представил тогда я, что Лукьянова нет здесь, с подругой, со стихами его модернистскими, лаконичными, «нервами-стервами», нет, и все тут, и вот что вдруг, вы представьте, произошло, – он исчез куда-то, немедленно, вместе с модной подругой, пропал, вместе с «нервами-стервами», где-то, ну а где – да кто его знает, растворился в столичном воздухе, чтоб в квартире своей оказаться, где ждала его снова труба, или, может, корнет, словом, нужный инструмент, на котором он станет с удовольствием вскоре играть.

(И действительно, шел я однажды, ранним утром, к знакомым своим, в том районе, где жил Лукьянов, – и услышал, как он играет, на трубе или на корнете, и увидел его, стоявшего на балконе, меланхоличного, отрешенного, в тишине, растревоженной резкими звуками беспокойной мелодии джазовой, видно, в дружбе с «нервами-стервами», но усвоенной им вполне...)

Вспоминаю семидесятые.  
Словно пламенем вдруг объятые.  
Их героев. С ума палатую.  
Или с удалю. Речи их.  
Лица – в шумной толпе предпраздничной.  
В толкотне бесконечной, будничной.  
Их глаза – вопрошенье вечное.  
Их – чужих. И – почти родных.

Ну куда же теперь – без этого?  
Столько прожитого и спетого!  
Ну а может быть – недопетого?  
Наверстаем ли? Как сказать!  
Сохраним. Вопреки забвению.  
Не стоять на месте – мгновению.  
Длиться – вешнему вдохновению.  
Значит, выстоять. И – дерзать.

...И снова мы навестили однажды, вдвоем со Зверевым, Оксану Михайловну. Вечер был на редкость хорошим тогда.

Была Оксана Михайловна прекрасна. Глаза сияли. Казалась она мне сказкой. Волшебница? Нет. Звезда.

«И все они были красивы», – сказал когда-то о сестрах Синяковых их друг Велимир.

Но в Оксане Михайловне все же было что-то больше обычной красоты. В ней была и тайна.

И Зверев – чувствовал это.  
Хребтом своим – понимал.  
Потому ее и любил.  
Потому-то к ней и тянулся.  
Потому-то ее непрерывно рисовал. Он ее – воспевал.  
Он ее – создавал. Молодую делал вновь. Он видел ее – не подвластной времени. Вечной. Не стареющей никогда.  
Самой близкой. Самой родною.  
Кем? Подругой? Или женою?  
Всем на свете. Почти святою.  
Даром свыше – сквозь все года.

И сотни сделанных Зверевым портретов Оксаны Михайловны остались – песню художника о верности и любви.

Остались. Живут. И жизнь их продолжится и в грядущем. Примером союза прочного – уж как его ни зови.

Портреты. Прозрений зверевских свидетельства несомненные.

Портреты. Терзаний зверевских признания откровенные.

Портреты. Символы. Знаки. Образы – сквозь века.

Сказочные. И – реальные. Не взятые с потолка.

Портреты. Воображение – среди будней. Плоды труда.

Портреты. Преображение былого. И – навсегда.

Портреты. В ночи – сияние. В судьбе – поворот и взлет.

Блаженное состояние. А счастье – авось придет.

Портреты. Души метания – в бесчасье, где жизнь трудна.

Бессмертия очертания – сквозь явь. На все времена.

...Оксана Михайловна слушала стихи мои – и глаза ее становились влажными, светлыми, лучистыми и прозрачными, озерными, как сказал бы об этом друг ее, Хлебников.

И лицо ее преображалось, молодело. Морщинки вдруг исчезали куда-то. Губы шевелились слегка. И волосы над закинутой головой золотистой сияли короной.

Царица? Волшебница? Лада. Так ее называл Асеев, поэт и муж ее, в прошлом – азартный игрок, футурист.

А Зверев ее называл – старухой. Бубнил: «Старуха!..» А сам – любил ее. Страстно. Неистово. Так, что все вокруг кувырком летело – кастрюли, тарелки, книги асеевские, картинки, фотографии, – так, что двери выламывал сгоряча в буйстве диком своем и в ярости, в грозном гуле клокочущих чувств и желаний своих – быть рядом со старухой своей, и немедленно, быть сейчас же, надолго, вместе, опекать ее, помогать ей, говорить ей слова хорошие, воспевать ее в письмах, в стихах, рисовать ее снова и снова, обнимать ее иногда, принимать к ней, совсем по-детски, знать, что в ней лишь – его спасение, знать, что это – любовь и жизнь, и единственный выход из ада, и надежда его, и отрада.

...В кабинете асеевском Зверев мне показывал папки с работами многочисленными своими.

И на каждой папке была обозначена им – оценка.

Четыре. Четыре с плюсом. Но чаще, конечно, – пять.

И работы здесь были – отборные.

И распоряжалась ими – конечно, Оксана Михайловна.

И увидел я на одной из толстенных папок с картинками, на виду, прямо сверху, броскую, многократно художником сделанную, в самых разных, порой непредвиденных, вариантах, всегда впечатляющую, знаменитую подпись – АЗ.

И спросил я у Зверева:

– Что это?

И ответил мне Зверев так:

– Понимаешь, это мои, как ты сам сейчас видишь, подписи. Да, они, безусловно, разные. Но – мои, и все этим сказано. А то ведь эти, – тут Зверев посмотрел куда-то за стену и рукой показал туда, – эти самые, злопахатели, прохиндеи всякие нынешние, говорят, что я почему-то не умею, надо же так расстараться, чтобы меня подколоть, рисовать эмблемы. Нет, умею. И вот они, перед нами. Вот они, подписи. Необычные иногда, но всегда легко узнаваемые. Все – мои. Вот мое – АЗ.

В кабинете асеевском Зверев мне показывал груды тетрадей – со стихами своими, с поэмами, иногда не только большими по объему, но просто огромными, смесью лирики с эпосом, синтезом этих жанров, новаторским, смелым, авангардным, но и с почтением к нашей русской традиции, текстами необычными и уникальными, – груды общих тетрадей, исписанных им от корки до корки, размашистым, но при этом вполне разборчивым, синкопическим, быстрым почерком.

Так что здесь, в кабинете асеевском, до поры до времени, видимо, находились, в полной сохранности удивительные сокровища.

Где теперь они – кто это скажет?

Где-нибудь. У кого-нибудь – есть.

И не надо гадать об этом.

Как говаривал Ворошилов о работах своих – прорастут.

Вот и зверевские сокровища, полагаю, – давно проросли.

..Смотрит нынче с портретов, созданных в годы прежние Толей Зверевым, на людей Оксана Михайловна, на людей столетия нового, смотрит пристально, грустно, радостно, смотрит – вся в сиянии зверевской, бесконечной, вечной любви.

Смотрит так, что многие чувствуют возрастающий жар в крови.

Смотрит – муза. А может – музыка. И – поэзия. Жизнь. Судьба.

И – надежда на понимание. И внимание. И мольба.

Смотрит – живопись. Или – светопись.

Песнь. И ей-то – звучать и впредь.

Или – тайнопись. Может, летопись?

Весть, которой нельзя стареть.

\* \* \*

.....  
..Снова вспомнилось давнее чтение стихов, мое чтение в семьдесят седьмом, непростом для меня и бурном весьма году.

Один мой знакомый, случайно, устроил мне это чтение, или творческий вечер, так ведь звучит намного солиднее, в театре, который, как выяснилось из беседы с ним телефонной, деловой, как сказал он мне тогда, находился в Царицыно.

Что ж, Царицыно так Царицыно.

Можно будет и там побывать.

Место, всем в столице известное.

Всем ли? Вряд ли. Зачем скрывать?

Далеко не все приезжали москвичи когда-то – туда.

Почему? Да кто его знает! Как-то сложно живут города.

А в Царицыно сохранилась, вместе с ладом былым, старина.

Пусть там что-то все ж изменилось. Но звала туда – тишина.

Но манили – покой и воля. Но вели – и чутье, и свет.

Где избавиться вмиг от боли? Лучше места – пожалуй, нет.

И поэтому надо было оказаться в Царицыно снова.

Рай? Неужто? Да что-то вроде рая ближнего, право слово.

Пусть – остаток, пусть – отзвук рая. Пусть – фантазия, пусть – мечта.

Существуют ведь, не сгорая, удивительные места.

Сохраняются. Выживают. Изменяются – но слегка.

Долго тайны свои скрывают. И загадочны – сквозь века.

Читал я стихи свои в ту пору довольно часто.

- И, тем более, был обещан мне за чтение – гонорар.  
А средства к существованию были мне очень нужны.  
И решил я с собою взять, на чтение это, Зверева.  
Я сказал ему:
- Толя, меня приглашают стихи читать, в театре одном, в Царицыно.  
Зверев буркнул:
  - Да? Хорошо.  
Я сказал ему:
  - Толя, представь, мне за чтение это – заплатят.  
Зверев хмыкнул:
  - Ну, наконец-то понял кто-то, что чтение, друг мой, и не чье-нибудь там, а твое, подчеркну, особое чтение стихов, которое было, и есть, и будет всегда уникальным, неповторимым, – это тоже большая работа.  
Я спросил:
  - Ты поедешь со мной?  
Зверев сразу ответил:
  - Поеду.  
И вот, в назначенный день, мы поехали с ним в Царицыно.  
Разыскали театр, в котором предстояло стихи мне читать.  
Нас встретили шумной толпой симпатичные люди, актеры. Молодые, веселые, дружные. Приветливые, оживленные.  
Молодые женщины, очень интересные, – как же, актрисы! – надо марку держать им, быть привлекательными всегда.  
Парни, крепкие, даже спортивные, так могло показаться, подтянутые, словно все, как один, готовые к репетициям и спектаклям.  
Все актеры театра в Царицыно.  
Все встречали сегодня нас.  
Ну и что с того, что не знали их мы доселе, что мы их видели, сразу всех, нарядных, взволнованных и общительных, в первый раз!  
Важно – то, что мы с ними встретились.  
Труппа славная. Коллектив.  
Так скажу я. В них был, заметил я, добрый свет, сплошной позитив.  
Актеры:
  - Приехали! Здравствуйте!  
Я:
  - Здравствуйте!  
Зверев:
  - Привет!  
Актеры:
  - Давайте знакомиться!  
Назвали свои имена. Так много их было, что я, признаться, теперь их не помню.  
Я – актерам:
  - Позвольте представить: Анатолий Зверев, художник.  
Зверев, шурясь:
  - Да, это я.  
Всполошились актеры:
  - Зверев? Это вы? Тот самый? Seriously?  
Зверев – им:
  - Конечно. Тот самый.  
И актеры:
  - Ну, чудеса!

Зверев – им:

– Доживем, надеюсь, мы сегодня и до чудес.

Актеры:

– Вот это встреча! Сам Алейников к нам приехал, да еще и вместе со Зверевым!

Я – актерам:

– Значит, судьба.

Привели нас актеры в театр.

И настало время читать мне актерам стихи свои.

И читал я стихи. Говорить мне приходится часто об этих, в годы прежние, чтениях. Так уж получалось. Выходит, нужны были чтения эти людям. Что с того, что меня не печатали? Наплевать на это. Подумаешь, что ни шаг, то сплошные запреты! Люди слушать умели тогда. Люди сами решали, что им было близким, а что – далеким. И стихи мои были в ту пору, героическую, орфическую, – им действительно необходимы.

И надо сказать, что слушали актеры меня – замечательно.

Внимание их оказалось – поистине изумительным.

Такого теперь, посреди затянувшегося «как бы времени», с его абсурдом и хаосом, с дичайшей подменной ценностей, с бессмысленной вседозволенностью всеобщей, давно уже нет.

А тогда, в минувшие годы, со всеми их, оптом, сложностями, жива была – человечность, и радость была жива.

И если стихи читал я собравшимся слушать людям, то в душах их оставались надолго мои слова.

После чтения моего пригласили меня и Зверева все актеры в большую комнату, где накрыт был длиннющий стол.

На столе – бутылки с вином. И закуски. Все честь по чести.

Вот какие были актеры. Было все у них – по-людски.

Мне вручили конверт с деньгами, заработанными, за чтение.

Поместились все за столом.

Все мы – выпили и закусили.

Начались потом – разговоры.

Зверев – мне:

– Хорошо ты читал. Да еще вот и заработал. Молодец, Володя! Хорэ!

Я:

– Ты знаешь, устал я, Толя. Напряжение было большим.

Зверев – мне:

– Значит, надо выпить.

И налил в стаканы вина.

И мы с ним вино это – выпили.

Один из актеров, рослый, стройный, веселый парень, был за столом – тамадой. И тосты он говорил – затейливые, забавные. И шутил. И ритм задавал особый – застолью нашему.

И в руках его появилась – гитара. И стал он петь задумчиво – романсы старые. И пел он их – замечательно.

Зверев слушал его с удовольствием. И спросил его вдруг:

– Старик! Помнишь песню – «Цыпленок жареный»?

И ответил актер:

– Да, помню.

Зверев, этак лукаво:

– Спой!

И актер тогда – спел «Цыпленка».

И воскликнул Зверев:



Приходилось терпеть. Лекарств никаких и в помине не было.  
Я прилег на тахту. Смотрел за окно. Там шумела улица. Проезжали машины.  
Слышались голоса людские. Чирикали воробьи. Там кипела жизнь.

Ну а здесь, где лежал я, не было ничего – ни еды какой-нибудь, ни воды, шаром покати.

Пусто. Тихо. И темновато.

Лишь стекло оконное, грязное, в мутных пятнах, давно немытое.

Лишь тахта, скрипучая, старая.

Лишь тоска. И усталость. И – боль.

В голове моей поневоле зазвучала какая-то музыка.

Я достал тогда из кармана чуть измятый, вчетверо сложенный, желтоватый бумажный листок.

Записал на нем строки стихов.

И тогда-то в дверь комнаты, где я лежал и писал стихи, постучала громко соседка и сказала мне:

– К вам пришли!

В коридоре раздался топот.

Отворилась дверь. На пороге появился вдруг – Толя Зверев.

Он воскликнул:

– Привет, Володя!

Изумился я:

– Ты откуда? Как сумел ты найти меня?

Зверев сел на единственный стул и промолвил:

– Ты мне приснился.

– Как – приснился?

– Да так. Приснился. Мне приснилось, что ты – в беде и тебя мне надо спасать.

– Как нашел ты меня?

– По чутью. Как всегда. Я это умею.

Зверев сунул руку за пазуху и достал оттуда бутылку армянского коньяка. Открыл бутылку. Нашел на столе граненый стакан. Сполоснул его коньяком. Содержимое выплеснул на пол. Налил половину стакана золотистого коньяка. Протянул мне стакан:

– Быстро выпей!

– У меня давление, Толя.

– Пей. Не будет сейчас давления.

Взял стакан я. И выпил коньяк.

– Скоро будешь совсем здоров! – произнес тоном лекаря Зверев.

И действительно, мне стало легче.

И сказал я тогда:

– Помогло!

– Ну, вот видишь! Я знаю, что делаю.

Я присел на краешек скрипнувшей старой, ржавой пружины тахты.

Закурил. Посмотрел на Зверева.

Он сидел на стуле, как будто на коне боевом, в седле.

Я спросил его:

– Выпьешь, Толя?

Он ответил кратко:

– Потом! А тебе надо выпить снова.

И плеснул мне в стакан коньяк:

– Ну, давай! Немедленно выпей.

И пришлось мне выпить коньяк.

И себя я почувствовал лучше.



Зверев снова налил коньяк, половину стакана:  
– Пей!  
– Эх, была не была! – Я выпил.  
Потеплело в груди. Боль прошла.  
Зверев пристально посмотрел на меня – и сказал:  
– Ты здоров!  
И действительно, я почему-то был теперь совершенно здоров.  
Я сказал:  
– Ты волшебник, Толя. А еще и целитель, пожалуй.  
Зверев хмыкнул:  
– Что есть, то есть. А теперь тебе надо – поесть.  
И – достал из своих бездонных и волшебных, наверно, карманов кусок ветчины свежайшей, буханку белого хлеба, луковицу, головку чеснока и румяное яблоко.  
И сказал мне:  
– Все это – съешь!  
И, представьте, я все это – съел.  
И стал – совершенно здоровым.  
Зверев был доволен. Он хрюкнул. Произнес наконец: «Бодрит!» Улыбнулся лукаво. Полез, как заправский фокусник, ловко и привычно, к себе за пазуху. И достал оттуда – кусок ветчины, да побольше первого, и буханку белого хлеба, и большую желтую луковицу, и головку белого, твердого чеснока, да еще и два яблока. И потом, после некоей паузы, артистично, конечно, выдержанной, достал и поставил на стол две бутылки сверкнувшего золотом армянского коньяка.  
И сказал:  
– Теперь поедим. Вдвоем. И, понятно, выпьем.  
И мы с ним поели. И выпили.  
Я сказал ему:  
– Знаешь, Толя, ты вернул меня к жизни. Я очень благодарен тебе за это.  
Зверев сразу ответил:  
– Не за что. Ты меня столько раз выручал. Да еще и спасал не единожды. Все я помню. Дружба есть дружба.  
Я сказал:  
– Да, дружба есть дружба.  
Мы сидели вдвоем, в задрипанной и неубранной чьей-то комнатке. Говорили. О том да о сем. Как всегда. Было нам спокойно. И уютно даже. Коньяк согревал нас. Никто не мешал нам. И никто нам не досаждал. В самом деле, дружба есть дружба.  
И сказал мне Зверев:  
– Старик! Почитай мне стихи свои. Это надо сейчас. Почитай!  
И читал я стихи. И Зверев их внимательно очень слушал. И сказал мне свое:  
– Хорэ!  
А потом – ушли мы куда-то. Побродить, как прежде. Вдвоем.  
По московским весенним улицам, где вечерний синел окоем.  
А потом – все дальше и дальше.  
В глубину эпохи былой.  
Той, что трудной бывала раньше.  
Донимавшей ненастной мглой.  
Ввысь. В грядущее. К звездам ясным.  
К новым подвигам – там, вдали.  
Тем, что светом сильны прекрасным.  
Он вовек не уйдет с земли...

Было – что-то, чего и не выразишь так вот, сразу, не сформулируешь, потому что это и жизнь, и судьба, да и многое прочее, не случайность, а неизбежность, то, что было нам предначертано свыше, видимо, что привело, нас обоих, в итоге, к дружбе.

К дружбе – той, что дороже многих.

К дружбе – той, что осталась в памяти, несмотря на всякие сложности жизни прежней и несмотря на характеры наши, разные, и на разные наши судьбы, непрерывным, неугасающим и поныне, таким, который исцеляет и поднимает над обыденным и жестоким, надо всем, что мешает творчеству, над землей, сквозь дождь или снег, сквозь любые приметы времени, сквозь пространство, с его причудами, парадоксами и загадками, сквозь любые тайны, сквозь явь, за которой настанет правь, сквозь невзгоды, туда, где новь, ну а с нею и та любовь, что спасла меня в те года, что пришла ко мне навсегда золотым, драгоценным светом.

Дружба – дар.

И творчество – дар.

И гадайте нынче, мои современники и читатели, что да как, почему, да зачем это было. И есть – доселе.

В самом деле?

Да, в самом деле.

Было. Есть. И останется – жить.

В том грядущем, что встречи ждет.

Что когда-нибудь – вдруг придет.

И – раскинет вновь за собою звездный шлейф давнишних, волшебных, да, представьте себе, волшебных, пусть и были они земными, под ненастными небесами, небывалых порой событий, встреч, историй, в диапазоне от забавных до драматичных или даже трагичных, поскольку были годы наши минувшие, несомненно, трагичными, да, это так, это было, как данность, грубой нитью багровой прошло наши судьбы и наши надежды на желанное, лучшее время, но и радости было в них тоже предостаточно, потому что было главным для всех нас – творчество, созидательный, непрерывный, благородный, отважный труд.

Вот поэтому нас называют – андеграундом. Так уж вышло. Так сложилось. Но что же, все-таки, для теперешних поколений, этот самый, родной, привычный, наш, отечественный андеграунд?

Что ж, зажгу, словно встарь, свечу.

Разобраться попробую в этом.

Пониманья от вас хочу.

Речь – в ночи, заодно со светом.



# НЕГЛАСНЫЙ МАНИФЕСТ НЕОШЕСТИДЕСЯТ- НИЧЕСТВА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ ПАВЛА ПОНОМАРЕВА  
«ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

*Мы делали будущее сами,  
отказывая себе в самом необходимом,  
мучась, ошибаясь, но делали сами.  
И я горд, что я не наблюдатель,  
а участник в этой борьбе за будущее.*

Евгений Евтушенко.

Преждевременная автобиография, 1962 год

Этим летом в Воронеже вышла странная книга. Жанр ее не поддается определению, хотя написана она довольно традиционно, почти классически, по лучшим законам советской публицистики. Впрочем, не вполне публицистики и не совсем все-таки советской. Это книга воспоминаний. И автору всего (уже) двадцать четыре года. Это дневник молодого человека, которому в душе не меньше шестидесяти. Точнее, так: это дневник человека, *по-настоящему* родившегося в первой половине тридцатых, прошедшего мальчишкой войну, продышавшего оттепель, но живущего здесь и сейчас по тем шестидесантническим (слово Евтушенко) законам чести, совести и свободы.

В книге чуть больше сотни страниц, десятка полтора действующих лиц, три основные точки в пространстве и две — во времени. Действующие лица разные. Есть имена широко известные — Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, легенда воронежской журналистики, учитель Пономарева — Лев Ефремович Нройчин. С последним автора книги связывает многолетняя добрая дружба, свидетелем которой мне неоднократно приходилось бывать. Есть имена, знакомые узкому кругу посвященных. Немало в книге сказано о молодых воронежских поэтах. Значительное, смыслообразующее место отведено преднам.

Пространство обозначено несколько скупее. Во-первых, родная автору Лебедянь. Славный городок на верхнем Дону, родина Замя-

тина и лучших в России яблок. Во-вторых, Воронеж — транзитное место тревог и радостей, душевной и бытовой неустроенности. В-третьих, Тверь, в которой чудесным образом сошлись вчера и сегодня. Благословенное и родное — то, и ненавистное и чужое — это.

Потом — Москва, Переделкино, Сочи... Потом — за пределами этой пространственно-временной пирамиды — другая, неизвестная и едва существующая жизнь. Все главное — внутри.

Мне, другу Пономарева и одному из героев книги, странно читать этот Дневник. Никан не могу привыкнуть: это как ходить по улице, названной именем человека, которого хорошо знал. Впрочем, это непримиримая норма жизни. Чувствуешь: время идет. Как голубь по жердочке.

И именно время, кажется, является едва ли не главным героем книги. И потому, что, как ни крути, записи эти носят в первую очередь дневниковый характер. И потому, что автор их при всем довольно трагическом духовном одиночестве, при явном несовпадении с эпохой пишет все-таки об этом, о своем времени. Помните, у Рождественского: «И навечно совпало с нами // это время в календаре...»

Да, конечно, интересуется не новое, не нынешнее, но уходящее: он хочет схватить его на самом краю, удержать из последних сил и в последних руках. Его руки — последние. Эта книга как бы негласный манифест нашего нешестидесятичности.

Главное — память. Она оказывается важнее и «действительнее» реальности, а время прошедшее нужнее времени настоящего. И это на самом деле странно и удивительно: молодой человек заранее, исподволь отказывается от своей жизни *здесь* ради едва существующего *там*. Может быть, и не отказывается даже, но вступает с ним, с этим ненавистным настоящим, в противоречие. В этой связи я не устаю цитировать Цветаеву: «Быть современником — творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновина».

Павел Пономарев — истинный современник своего времени (уж простите за тавтологию). Он живет и творит по заветам Цветаевой. И сражается, наверное, не только с *этим* временем, чтобы отразить его как щит, но в принципе с забвением и немотой во имя времени *того*. Единственного и всегдашнего. Это настоящее *лирическое сражение*: не просто запомнить, но передать неповторимую необходимость.

Ведь мы и вправду как будто помним *то* время как свое собственное. Ужас и величие сталинской эпохи, осколки дворянства, нищета, вера в социализм с человеческим лицом... Почему-то все это накрепко вошло в нас, став существом нашим, стержнем. И это не (с)только память.

С одной стороны, это так называемая чужая ностальгия, о которой я недавно говорил в «Знамени». С другой — поиск опоры, поиск хотя бы какого-нибудь постоянства. На что нам оглядываться? На нищие провинциальные девяностые? Что мы знали тогда о счастье свободы? Что знали близкие наши о возвращенной литературе, например, о том, что можно сесть в самолет и наконец увидеть Париж? Они были затравлены нуждой, а не советской властью. Не нужна была нашим родным (в отличие от нас) ни гласность, ни перестройка. «Потерянное поколение» 90-х, кстати

говоря, в этом смысле определеннее и тверже нас — им есть от чего оттолкнуться.

Застой дал многое. Как минимум — опору, которая в окружающей беспросветности стала только тверже: *и завтра будет советская власть, и послезавтра, и нет ей конца...* Впрочем, все это относительно. Тому же Пономареву (он, кстати, куда больше любит 70-е, чем 60-е, они ему понятнее и ближе) было бы чрезвычайно трудно жить в то время, даже в счастливое оттепельное. С его-то непримиримостью, нарочитой индивидуальностью и прочим.

Так что, наверное, это никакая не «чужая ностальгия», опровергаю я сам себя, да и не ностальгия вовсе. Но именно поиск опоры. Не только духовной, но и социальной, бытовой (в глубинном смысле), даже политической.

В чеховской «Чайне» Маша говорит: «А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить». И это тоже про Пономарева. В двадцать четыре года он вспоминает *свою жизнь*. Пытается понять ее, пока она не отдалилась, не истончилась, пока она живет еще и дышит и существо ее можно запечатлеть, спасти.

Да, наверное, сейчас эту книгу не так интересно читать: слишком мало прошло, время не отстоялось. Но в этом и мужество, и необходимый риск: *а я все равно, все равно скажу, потому что это должно быть сказано, непременно должно быть сказано именно сейчас...*

*Василий Нацентов*